Елизавета Николаевна Водовозова

На заре жизни. Том первый

Елизавета Водовозова

На заре жизни. Том первый

«Public Domain»
1911

Водовозова Е. Н.

На заре жизни. Том первый / Е. Н. Водовозова — «Public Domain», 1911

«Первая часть „Воспоминаний“ посвящена годам детства, которые я провела в глухом уездном городишке среди членов моей семьи, а потому в этот период жизни я говорю только о них. Но с переселением в деревню я близко сталкиваюсь с соседями, и это дает мне возможность описать деревенскую жизнь захолустного уголка, в котором я жила перед падением крепостного права…»

© Водовозова Е. Н., 1911
© Public Domain, 1911

Содержание

Предисловие 5
Часть I 8
Глава I. Неожиданная встреча на станции и сватовство 8
Глава II. Мой отец; его военная служба 24
Глава III. Жизнь в деревне (1848–1855 годы) 48
Конец ознакомительного фрагмента. 75

Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том первый

Посвящаю мои воспоминания мужу – товарищу и другу

Предисловие

Первая часть «Воспоминаний» посвящена годам детства, которые я провела в глухом уездном городишке среди членов моей семьи, а потому в этот период жизни я говорю только о них. Но с переселением в деревню я близко сталкиваюсь с соседями, и это дает мне возможность описать деревенскую жизнь захолустного уголка, в котором я жила перед падением крепостного права.

Нравы, обычаи, воспитание детей, отношения между ними и родителями – одним словом, вся жизнь русских дворян того времени – складывались на основе крепостного права. Лишь весьма немногим из них, благодаря исключительно благоприятным условиям, удавалось стать, если не во всех, то во многих отношениях, выше окружающей среды. Так, в умственном развитии моего отца огромную роль сыграли заграничные походы 1813–1815 годов, в которых он участвовал; они повлияли, как известно, и на целое поколение военной молодежи, дали могучий толчок распространению среди нее либеральных идей. Большое значение в жизни отца имели и пребывание его в Царстве польском в конституционный период,[1] и польская литература и культура. Но такие люди, как мой отец, с его широкими умственными запросами, с его гуманным отношением к семье и к своим крепостным, были редкими исключениями. Правду и в помещичьей среде того времени мне встречались не только жестокосердые люди, помышлявшие лишь о том, как бы повыгоднее для себя эксплуатировать своих рабов, но и добрые по натуре, даже великодушные в большинстве случаев, однако нравственно опустившиеся помещики или такие, которые отдавались какой-нибудь невинной забаве, вроде пристрастия к голубям, изготовления для себя гробов, а всю заботу о крепостных предоставляли произволу своих управляющих и старост. Наконец, те из помещиков нашего медвежьего угла, которые потерпели серьезную аварию в личной жизни, оказывались или беззастенчивыми сластолюбцами, или женоненавистниками.

Благодаря местным историческим условиям моей родины, в ней было значительное количество мелкопоместных дворян, и я могла близко наблюдать их нравственное и умственное убожество; так как о них до сих пор было мало сведений в литературе русских мемуаров, я решила представить несколько знакомых мне типов и из этой среды.

Всем, конечно, известно, какое гибельное влияние имело крепостное право на помещичьих крестьян и особенно дворовых: даже там, где к ним относились сравнительно человеколюбиво, оно обыкновенно отражалось весьма печально на их судьбе, и чаще всего тех из них, которые отличались исключительною талантливостью. Вот потому-то я нашла небесполезным представить положение таких дворовых людей, как Васька-музыкант.

Жестокое право распоряжаться судьбою ближнего по своему произволу тлетворно влияло не только на тех, кто владел крепостными или сам принадлежал к их числу, но и на свободных людей, очутившихся в этой крепостнической среде, заставляя проникаться рабскими

[1] По Венскому конгрессу 1815 года Польша была разделена между Россией, Австрией и Пруссией. 8 июня 1815 года Александр I издал манифест о создании Польского королевства. В декабре была обнародована конституция русской части Польши, которая объявлялась навсегда соединенной с Россией династической унией. Русский император одновременно являлся и польским королем. Законодательная власть принадлежала королю и народному представительству – сейму, который имел право решать лишь те вопросы, которые будут ему предложены на рассмотрение королем.

чувствами даже одаренных от природы высоконравственными качествами. Иллюстрациею того и другого может служить вся первая часть моего труда.

Из глухого деревенского захолустья я попала в институт, который был в ту пору закрытым интернатом, отделенным высокими стенами от всего человеческого, где одно женское поколение за другим, изолированное от всего живого, воспитывалось, как будто нарочно, для того, чтобы не понимать требований действительности и своих обязанностей, и оканчивало курс образования, не приобретая ни самых элементарных знаний, ни мало-мальски правильных воззрений на жизнь и людей, что я и описываю во второй части «Воспоминаний».

Я воспитывалась в Смольном не только тогда, когда в него не проникала ни одна человеческая мысль, когда в него не долетал ни один стон, вызываемый человеческими страданиями: при мне в его стенах в качестве инспектора появился К. Д. Ушинский, что и дало мне возможность представить, как этот величайший русский педагог вместе с введенными им новыми учителями начал подрывать гнилые устои института и водворять в нем новые порядки, всколыхнувшие весь строй стоячего институтского болота, перевернувшие вверх дном все установившиеся в нем понятия о воспитании и образовании. В очерках об институте за это время я описываю, как под влиянием реформ Ушинского, его замечательной личности и выдающегося ума постепенно начали меняться мировоззрения, стремления и мечты институток.

После умственной и нравственной встряски, произведенной Ушинским, когда голова моя шла кругом от нахлынувших новых взглядов и когда они далеко еще не перебродили в ней, я была брошена в самый кипучий водоворот жизни 60-х годов. В очерках под названием «Среди петербургской молодежи 60-х годов» я старалась представить жизнь молодых людей того времени, их отношения друг к другу, их взгляды, споры, стремления, излюбленные занятия, уменье скрасить трудовую жизнь безудержным весельем, наконец, раздоры отцов с детьми и фиктивные браки.

Мои первые знакомства с людьми молодого поколения, совместные занятия с ними, посещение лекций, воскресных школ, кружков и вечеринок, разговоры, споры и речи я, под живым впечатлением, подробно описывала моей любимой сестре, жившей в то время в провинции. После ее смерти я нашла у нее мои письма и воспользовалась ими для очерков, о молодежи 60-х годов.

Затем, после продолжительной разлуки с близкими родными, я ненадолго попадаю под родительский кров и описываю все то, что встретила на моей родине, как реагировали на новые общественные течения и крестьянскую реформу члены моей семьи, а также помещики и крестьяне, которых я тогда встретила.

В мои «Воспоминания» я вношу только то, что видела, перечувствовала, чему была свидетельницею или что слышала от окружающих. Хорошо запомнить события деревенской жизни и характеры моих старых знакомых, помещиков дореформенного времени, мне очень помогло то, что, имея уже собственную семью, я нередко отправлялась на родину к матери, куда съезжались и мои братья и сестры. Члены моей семьи чрезвычайно любили вспоминать прошлое. Более всего способствовали этому уединенная однообразная деревенская жизнь нашего захолустья, недостаток книг для чтения, часто даже отсутствие газет, следовательно, скудость тем для разговора. В неделю-другую после приезда перескажем, бывало, друг другу все, что накопилось за год разлуки, – и материал исчерпан. И вот, достаточно было самого ничтожного повода – появления бабы, пришедшей из дальней деревни за лекарством, получения от соседа деловой записки, – и один из присутствующих начинает вспоминать о людях и событиях той местности, другой переходит на соответствующие эпизоды из прошлого нашей семейной жизни, третий поправляет и дополняет рассказываемое всевозможными подробностями, так как все присутствующие в продолжение многих лет были свидетелями одних и тех же событий, жили одною и тою же жизнью. Подобные рас-

сказы повторялись при мне много раз, и в моих воспоминаниях о событиях раннего детства я не всегда могу дать себе отчет в том, что наблюдала сама и что узнала из рассказов лиц, меня окружавших. Еще более оживляло прошлое в моей памяти следующее обстоятельство: когда я летом приезжала в деревню к матери, она то и дело просила меня читать дневник ее преждевременно умершей дочери, а моей любимой сестры[2], найденный после ее смерти. Таким образом, он был весь прочитан несколько раз от начала до конца. Читать одно и то же приходилось потому, что это доставляло матушке бесконечное удовольствие и будило воспоминания о прошлом; она то и дело сообщала подробности или факты, на которые покойная сестра не обратила внимания или описывала их слишком кратко. Вот почему многие события деревенской жизни я помню очень живо.

Отдельное издание моих воспоминаний «На заре жизни» составилось из очерков, напечатанных в следующих журналах: 1) «Русская старина», 1887 год, № 2, под псевдонимом Н. Титовой, 2) «Минувшие годы», 1908 год, в десяти книжках, 3) «Русское богатство», 1908 год, в пяти книжках, 4) «Русское богатство», 1911 год, № 2, 5) «Современник», 1911 год, в трех номерах. Во вторую, а еще более в третью часть «Воспоминаний» вошло несколько новых очерков и эпизодов, нигде не появлявшихся в печати.

Моими «Воспоминаниями» о помещичьей и крестьянской жизни, напечатанными в журналах, уже воспользовались некоторые исследователи истории крепостного права в царствование императора Николая и собиратели материалов для этой историй[3]. Если и другие мои очерки окажутся небесполезными для ознакомления с теми сторонами нашей прошлой жизни, которые я описываю, я буду вполне вознаграждена за свой труд.

Когда в этой книге я упоминаю о литературных и общественных деятелях, я обыкновенно не нахожу нужным утаивать их имена, но когда дело идет о моих родных и знакомых, имеющих значение только для общей характеристики того времени или представляющих, как мне кажется, интерес лишь для педагога и психолога, я не считаю нужным называть их настоящие имена.

---

[2] Речь идет об Александре Николаевне Цевловской (Саше, Шуре), с конца 1861 года занимавшей должность помощницы начальницы Мариинского женского училища в Смоленске.

[3] В частности, можно указать на книгу проф. И. И. Игнатович «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» (М. 1910), в которой автор неоднократно ссылается на воспоминания Е. Н. Водовозовой.

Часть I
Жизнь в провинциальной глуши перед падением крепостного права

Глава I. Неожиданная встреча на станции и сватовство

Мой дед и его жена. – Ее изгнание в ссылку. – Свадьба моей матери[4]

Моя мать, урожденная Гонецкая, очень рано вышла замуж. Вот что она рассказывала по этому поводу нам, своим детям, когда мы были уже взрослыми.

По окончании курса в петербургском Екатерининском институте в 1828 году, будучи тогда шестнадцатилетней девушкою, она возвращалась весною со своим отцом в его имение, деревню Бухоново П‹ореч›ского уезда, С‹молен›ской губернии. Подъезжая к одной из почтовых станций недалеко от своего поместья, они встретили господина лет тридцати семи, который только что приехал туда же. Оба путешественника, то есть мой дед (отец моей матери) и господин, отрекомендовавший себя Николаем Григорьевичем Цевловским, тотчас разговорились между собою. Оказалось, что оба они не только уроженцы С‹молен›ской губернии, но что дедушка прекрасно был знаком с покойными родителями Николая Григорьевича, нередко бывал у них в доме и знал его, когда он был еще ребенком. Но с тех пор много воды утекло: мой дед во время этой встречи был уже стариком, а Николай Григорьевич только что оставил военную службу и отправлялся в свое имение Погорелое, находившееся недалеко от Бухонова.

Не только в ту отдаленную пору, о которой я говорю, но еще совсем недавно, когда уроженцы С‹молен›ской губернии встречались друг с другом, они немедленно задавались вопросом, не состоят ли они в родстве между собою. В конце концов, обыкновенно выходило так, что они действительно оказывались, хотя отдаленными, но все же родственниками.

– Позвольте, – говорил кто-нибудь из них, – как же мы-то с вами друг другу приходимся? Не знавали ли вы Анну Петровну Скарятину, двоюродную тетку моей жены?

– Боже мой, – отвечал ему другой с радостным волнением, – действительно мы с вами родня!.. Скарятина – троюродная сестра моего двоюродного племянника.

Так было и в данном случае с дедушкою и Николаем Григорьевичем: только после этих счетов и пересчетов родни они приступили к другим темам разговора.

Когда мужчины поболтали между собою и напились чаю, дедушка выразил желание «соснуть». Матушка, до дикости конфузливая институтка, испугалась, что она останется с глазу на глаз с незнакомым человеком, с которым она ни одного слова не проронила во время чая, схватила ломоть хлеба и отправилась на крыльцо кормить кур. За нею скоро последовал и молодой помещик.

– Господи боже мой! – рассказывала мать. – Сколько времени прошло с тех пор, а я все помню, что было сказано тогда между нами, помню каждое слово Николая Григорьевича, каждый его жест, точно все это случилось только вчера. Вышел он на крыльцо и начинает расспрашивать меня. А я в ответ только «да» и «нет», да и это-то насилу могу выдавить из

[4] Многие действующие лица в моих «Воспоминаниях» названы вымышленными именами; изменены и названия местностей. *(Прим. Е. Н. Водовозовой.)*

горла, продолжаю крошки курам бросать, пошевельнуться боюсь, обернуться в его сторону не смею, – такими мы потешными дикарками из институтов выходили. Верите ли, конфузливость в большом обществе у меня нередко доходила просто до потери сознания, а между тем по натуре я была очень живая и даже пребойкая.

– Да что же это, mademoiselle Alexandrine, вы меня так дичитесь? Ведь тут нет ваших классных дам! Скажите же что-нибудь!.. Ну… любите ли вы танцы или нет?

– Да, очень, – отвечала я, не оборачиваясь.

– Ах вы, бедная, бедная девочка! Ведь ваше имение Бухоново – настоящий медвежий уголок! Редко кто туда заглядывает! Потанцевать-то вам вряд ли когда придется! В ваших краях образованной молодежи совсем нет. Помещики и их супруги говорят «нетути», «надысь», «намеднись», а их сынки лазят по голубятням, бегают с борзыми по лесу, ну, а танцуют они, если только танцуют, пожалуй, не лучше медведей, на которых они охотятся… Да, обидно за вас!.. И как вы будете резко выделяться среди всего этого общества!.. Точно распустившийся розанчик среди чертополоха!

Мне очень понравились эти слова. Думаю, верно, поэт, попросить бы его стишки почитать, может быть, он даже сам их пишет… Да куда тут! Ведь я в первый раз в жизни с посторонним мужчиною разговаривала! Вот я и стою как пень, продолжаю курам крошки бросать и с ужасом думаю: ломоть кончается, куда же я тогда свои руки дену?

– Да бросьте вы кур кормить! Это-то занятие от вас не уйдет! Ах, сказал бы я вам один секрет… Только боюсь доверить! Еще, пожалуй, папеньке все разболтаете… Уж и не знаю… умеете ли вы тайны хранить?

Это меня сразу задело за живое, – я обернулась к нему и говорю: «Если вы меня такой „мовешкой“ считаете, нам нечего и разговаривать!..»

– «Мовешкой»! Ха, ха, ха… ха, ха, ха… – хохотал он, – что это значит? Это, вероятно, у вас в институте так называли тех, кто не умел себя держать?

– Что вы, что вы! Это гораздо хуже! Мовешками у нас называют безнравственных девиц, которые доносят на подруг начальству или не умеют беречь серьезных секретов… А я никогда, понимаете, во всю свою жизнь, ни одного секрета не выдала! – Попал он на институтскую тему, вот я конфузливость свою и забыла, стала стрекотать, как сорока. – А знаете ли вы, – говорю ему, – как трудно не выдать секрет, когда подруги знают, что именно тебе его доверили? Они ведь просто тогда осаждают, умоляют назвать хотя первую букву, с которой секрет начинается! Иная долго, долго крепится, но наконец скажет первую букву, а у нее мало-помалу догадками и хитростями вымотают и все остальное. Но со мною этого, слава богу, никогда не случалось… Я во всю свою жизнь ни одного секрета не выдала!

– Верю, верю! И чтобы вам доказать, что я вас не считаю ни мовешкой, ни безнравственной, я вам, пожалуй, открою мой секрет…

Хотя он все говорил с шутками и прибаутками, с хохотом и улыбками, потешаясь над моею институтскою наивностью, но все это я поняла гораздо позже, а в ту пору я была совсем глупой, – мне казалось, что он ведет со мною серьезный разговор, а его шутки я приписывала тому, что светскому человеку так и подобает говорить с молодою девушкою.

– Мой секрет вот в чем: так как вы любите танцевать, а в вашей трущобе вам это никогда не удастся, я и задумал устроить для вас бал… Понимаете, настоящий блестящий бал! На этом балу будет греметь великолепнейший оркестр музыки… Приглашены будут настоящие танцоры – кавалеры со шпорами… Не только дамы будут в цветах, но стены залы и музыкальные инструменты будут украшены ими!.. И среди этих цветов, среди самых хорошеньких женщин и девушек всей нашей губернии вы будете царицею бала, красивейшим цветком, лучшим украшением!.. А я перед вами… на коленях с гитарою в руках буду воспевать вас, прелестное создание, дивная красота которой, как пышная роза, цветет в нашем убогом захолустье!.. Так вот все это я устрою для вас, но с одним условием.

– С каким? Говорите! Пожалуйста, скажите! – Я с таким наслаждением слушала, как он меня воспевал, так он меня раззадорил предстоящим балом, и мне страшно досадно стало, что он вдруг остановился, – сам смотрит на меня и улыбается, а не продолжает. Я ему и говорю: – Если вы действительно устроите для меня такой бал, то я наперед согласна на все ваши условия…

– Видите ли, в чем дело: ведь не могу же я приехать к вашим родителям и сказать: «Я хочу устроить бал для вашей дочери». Вы понимаете, что так никто не посмеет сказать… Ваши родители могли бы принять такое предложение за личное оскорбление, могли бы просто выпроводить меня из своего дома с великим скандалом.

– Если такого бала нельзя устроить, – прервала я его, вспыхнув от досады, – зачем же вы мне все это расписывали? Значит, вы хотели только посмеяться надо мной?

– Боже мой! Что вы говорите? Я слишком уважаю вас, чтобы смеяться над вами!.. Подождите сердиться… Я ведь хотел только объяснить вам, что в такой форме нельзя сказать вашим родителям о бале… А как устроить такой бал, – у меня есть мысль… Не знаю, согласитесь ли вы?… Как бы это сказать… боюсь, что вы опять на меня рассердитесь!..

– Даю вам слово, что не рассержусь, только говорите скорее, не мучьте меня! – Тут уж я смело-пресмело стала разговаривать с ним, точно с институтской подругой.

– Так вот в чем дело… Однако, знаете ли, mademoiselle Alexandrine… мне трудненько сказать вам это! Очень я боюсь вас… Уверяю… Ну, будь что будет! Слушайте же… Приеду я в ваш дом… так через недельку-другую, – ваш батюшка, вероятно, пригласит меня. Побываю у вас несколько раз, а потом… потом… сделаю вам предложение… буду просить у вашего батюшки позволения жениться на вас… И вот тогда на нашей свадьбе я и буду иметь возможность устроить блестящий бал. Я так его устрою, так устрою чудесно… только согласитесь быть моею женой.

– А вы наверно, наверно устроите тогда блестящий бал?

– Если вы умеете хранить секреты, то я умею держать свое слово… А в этом случае сдержать слово я буду считать своею святейшею и приятнейшею обязанностью…

И вдруг я, как дура, начала хлопать в ладоши, скакать, хохотать… А он, вероятно, не мог даже сообразить в первую минуту, что это во мне глупое институтство брызжет изо всех пор, и совсем оторопел от моего хохота, подумал, что я издеваюсь над его скоропалительным предложением, и говорит:

– Что же вы смеетесь? Почему вы так странно принимаете мое предложение?

– Да ведь «наши» – то, то есть мои институтские подруги, тогда совсем провалятся со своим пророчеством? Поймите… У нас в каждом классе подруги сообща решали, кто первый, кто второй по красоте… Я числилась только девятой. Вот они и были уверены, что первая по красоте выйдет замуж раньше других, затем вторая и так далее, следовательно, я должна была выйти замуж девятой, – и вдруг я первая.

– Как! Они вас ставили только девятой по красоте?

Это служит лучшим доказательством того, что женщина не может судить о красоте другой женщины… Вы всегда и везде будете первой красавицей!

– Вы не можете этого знать!.. Вы не видали моих подруг!

– Нет, я знаю… Вы самая лучшая, самая красивая, самая прелестная на всем земном шаре!

– Вы просто льстите мне! – говорю я ему, а сама до смерти рада, что он так расхваливает меня, что он говорит мне такие приятные комплименты.

– А теперь прошу вас об одном, – сказал Николай Григорьевич. – Ни одного слова не говорите вашим родителям, и решительно никому о моем предложении. Скажу вам только одно: что я очень, очень счастлив… в высшей степени доволен, что вы согласились на мое условие. Не раздумаете? Нет? Ну, так по рукам.

Я и тут, ни о чем не думая, подала ему руку, точно соглашалась идти с ним на тур вальса.

– Теперь вы моя невеста! Настоящая невеста, хотя и *тайная*. Помните, – нужно крепко держать слово… хранить тайну до гробовой доски.

– Я прекрасно это понимаю, только и вы помните, что должны устроить блестящий бал с настоящими кавалерами, а то мне до смерти надоели танцы «шерочки с машерочкой», – ведь у нас в институте подруга с подругой танцуют… Пусть бы скорее наступал этот бал, – говорила я ему, уже совершенно не конфузясь его, не понимая всей наивности, всего непроходимого легкомыслия своего тогдашнего поведения. Только уже после замужества я начала сознавать все это и, бывало, спрашивала мужа, как он посмотрел тогда на то, что я не только тотчас же согласилась на его предложение, но даже торопила его свадьбой… Не показалась ли я ему слишком наглой, не подумал ли он тогда обо мне, что я слишком нетерпеливо стремилась к замужеству? Но он в таких случаях всегда отвечал мне…

Но матушка не передала нам ответа отца; она вдруг сразу сконфузилась, опустила голову и, улыбаясь счастливою улыбкой, густо покраснела. Несмотря на то что в то время, когда она нам рассказывала этот эпизод своей жизни, ей было уже под пятьдесят лет, она вполне сохранила какую-то целомудренную девичью застенчивость, и при ней никогда никто не смел рассказывать ни о чем двусмысленном и игриво-пошлом, не выносила она и разговоров об адюльтерах с пикантными приключениями, – даже намеки на эти вещи до глубокой старости вызывали густую краску стыда на ее щеки.

– Конечно, – кричали мы со всех сторон, – на ваши вопросы отец отвечал вам, что он не мог подумать о вас ничего дурного, так как вы были чисты, как ангел, божественно прекрасны, прелестно наивны, что относительно вас у него и в голове, и на языке был только один восторг… Ведь так?

– Да ну, отстаньте! – махала она на нас рукой, желая заставить нас прекратить перечисление эпитетов, будто бы даваемых ей отцом…

– Да, – говорила она, помолчав, – невероятно наивны и глупы были мы, выходя из института… Просто преступно и жестоко было в таком виде бросать девушку в житейский водоворот! Но все же были и хорошие стороны в этом отсутствии знания жизни: теперешняя барышня сейчас замечает, если она кому-нибудь нравится, и давай кокетничать, и глазками стрелять, и штучки разные откалывать, чтобы еще больше обворожить, – ну а мы по выходе из института были совсем неопытны в кокетстве.

Семья моей матери в тот период ее жизни, когда она только что кончила курс в Екатерининском институте, состояла из ее отца, Степана Михайловича, мачехи и двух братьев: Ивана и Николая. Родной матери матушка лишилась очень рано, а мачехи своей, когда она возвращалась из института, она еще никогда не видала. Ее отец, уже будучи в весьма преклонных летах, женился вторым браком на очень молоденькой девушке в то время, когда его дочь Александра (моя мать) была еще в институте. Вторая жена дедушки была лишь на четыре года старше своей падчерицы. Своих братьев, Ивана и Николая, моя мать не видала давным-давно: их отдали в корпус еще до поступления ее в институт, так как она была младшею в семье. В эпоху, описываемую мною, они были офицерами и написали отцу, что приедут летом в деревню. Таким образом, вторая жена дедушки, Марья Федоровна, урожденная Кочановская, совсем не была знакома с детьми своего мужа; своих же собственных детей у нее не было.

Когда дедушка написал своей дочери в институт о том, что он вторично женился, моя матушка, тогда еще девочка-подросток, страшно испугалась, что у нее будет мачеха. Когда она ехала с отцом в деревню, чем ближе подъезжала она к дому, тем тяжелее становилось у нее на душе при мысли, что ее встретит не родная мать, а мачеха, которую она представляла себе не иначе, как в виде злой, сварливой, старой классной дамы, которой ничем нельзя угодить, с ненавистью относящейся к своей падчерице. Отец не говорил ей даже о том, каких

лет была ее мачеха, не говорил, как она догадалась потом, вероятно, потому, что его жена была гораздо более чем вдвое моложе его; к тому же. он был человеком властолюбивым, старозаветным и весьма крутого нрава. Он и для того времени слишком строго расправлялся со своими крестьянами и сурово относился к домочадцам. За все время воспитания в институте моей матери он не только ни разу не навестил ее, но, будучи человеком весьма зажиточным, не посылал ей даже ни гостинцев, ни денег, хотя по натуре вовсе не был скупым. Он не выказывал ни жене, ни дочери никаких чувств, так как находил, вероятно, что простые человеческие отношения к близким могут уронить в их глазах его авторитет главы семейства, – идеи Домостроя еще не совсем исчезли в русском обществе в первой половине XIX столетия. Хотя дедушка не видал своей дочери за все время ее воспитания, но как только он отправился с нею в дорогу, так сейчас же начал обрывать ее каждый раз, когда она живо заговаривала с ним о чем-нибудь, наставительно и торжественно внушал ей, что она обязана видеть в нем *только* отца, а не свою «подружку-милушку», и что потому-то для нее неприлично трещать с ним, как трещотка: она должна лишь почтительно и благопристойно обращаться к нему. Ни малейшего спора не только с дочерью, но и с женою он не допускал, усматривая в этом унизительную для себя фамильярность. Уже сам по себе его наставительный тон отталкивал от него ту и другую и мешал им просто, по-человечески относиться к нему.

До возвращения моей матери под родительский кров отношения между ее отцом, Степаном Михайловичем, и его женою, Мариею Федоровною, были более или менее миролюбивые, – по крайней мере, у них не выходило между собою никаких ссор и недоразумений. Да и не могло быть иначе: Марья Федоровна, существо замечательно кроткое, беспрекословно выполняла все требования мужа. Несмотря на живость своего темперамента, она скоро приучила себя отвечать ему только на его вопросы, а если ей изредка и приходилось разговаривать с ним, то в «меру» и «благопристойно», – как он этого требовал. Но как только в доме появились его дети от первого брака, так отношения между мужем и женою совершенно испортились.

Матушка рассказывала, что, когда она впервые увидала свою мачеху, ее так поразили ее молодость и красота, удивительная стройность ее стана, грация ее симпатичной фигуры, ее живые и естественные манеры, ее привлекательная улыбка, что она со словами: «Мамашечка, какая вы чудная красавица!» – бросилась душить ее в своих объятиях. Но отец тотчас же строго заметил дочери, что она должна целовать у матери только руку, а не вешаться ей на шею, как на «подружку-милушку», говорить ей всегда «вы» и твердо помнить, что она для нее прежде всего мать.

После этого мачеха в присутствии мужа разговаривала со своею падчерицею очень сдержанно. Но когда кончился обед и Степан Михайлович отправился отдохнуть *в* свою комнату, мачеха бросилась целовать падчерицу. Она рассказала ей, как мечтала о ее приезде, как изнывает в тоске в захолустье. Гости редко бывают, а если и приезжают в торжественные дни, то обыкновенно садятся за карты. И это еще самое лучшее, так как Марья Федоровна, приготовив все, что следует для их угощения, могла тогда уходить к себе. Гораздо неприятнее для нее разговоры гостей: один похваляется перед другим, как ему удалось надуть приятеля, взяв за негодную лошадь дорогую цену, другой объясняет, какую «штуку» он придумал, чтобы мужики и *бабы* не ленились. Но Марья Федоровна не стала на первых порах рассказывать падчерице, в чем состоят эти «штуки», говоря, что она сама скоро все увидит и узнает. Теперь им вдвоем будет весело: они будут гулять, читать и работать вместе… Она конфузливо прибавила, что для этого, конечно, нужно будет улучать время, когда Степана Михайловича не будет дома, так как он, видимо, желает, чтобы она (Марья Федоровна) разыгрывала роль почтенной матери семейства, а она этого не умеет…

Падчерица с мачехою быстро сблизились между собою и с тех пор на всю жизнь сделались сердечными друзьями.

Требования дедушки, предъявляемые им к дочери и жене, были так несложны, что обе они скоро приноровились к ним, и старику не за что было журить ни жену, ни дочь: обе женщины чинно разговаривали между собою в его присутствии и с почтительным смирением относились к нему. Но как только Степан Михайлович уходил со двора, они начинали болтать, петь и возиться между собой. Чуть кто-нибудь из них заслышит его шаги, они моментально разбегались в разные стороны и садились за свою работу.

Но вдруг на них посыпались напасти. Дедушка то и дело заставал их на месте преступления: то он неожиданно входил в комнату в ту минуту, когда они, схватив друг друга за талию, носились по комнате в каком-нибудь танце, то ловил их на том, как они с хохотом бегали вперегонку по аллее сада. Он тут же резко бранил дочь за то, что она осмеливается запанибрата обращаться с матерью, а жену – за то, что она забывает свое почтенное положение матери семейства и ребячится с девчонкой, как равная с равной.

Судя по тому, как Степан Михайлович радовался гостям, как усердно зазывал их к себе, как оживленно, беседовал и шутил с ними, видно было, что и его по временам одолевали скука и однообразие деревенской жизни, но его домостроевские взгляды и деспотический нрав не давали ему возможности установить человеческие отношения со своими домашними. И вот, вероятно вследствие этого, он стал враждебно относиться к тому, что обе женщины так весело проводили время без него.

Чем ближе матушка узнавала свою мачеху, тем более удивлялась ее уму, благородству ее характера, ее природной деликатности и доброте. Она не только с горячею любовью, но с истинным восторгом до конца своих дней вспоминала ее, говорила, что редко родная мать относится с такою нежною ласкою и вниманием к своему дитяти, как относилась она к ней, что и ее братья, то есть пасынки Марьи Федоровны, тоже искренно привязались к ней. Несмотря на это, падчерица всегда называла ее «мамочкою» и «вы», а та ее – «Шурочкою» и «ты».

Моей матери так нравилась мачеха, она с таким обожанием смотрела на нее, что порой, бросаясь душить ее в своих объятиях, с энтузиазмом и с оттенком горечи восклицала: «Ах, мамочка, отчего я не могу родиться во второй раз? Ведь тогда вы были бы моей настоящей, родной матерью!» На это Марья Федоровна неизменно отвечала что-нибудь в таком роде: «Не понимаю, Шурочка, почему так хочется тебе этого? Видит бог, что и тогда я не могла бы больше любить тебя».

За выражение подобных чувств им обеим однажды порядком досталось. Когда злополучная фраза моей матери как-то долетела до слуха дедушки, он вошел в комнату мрачнее тучи и начал распекать свою дочь за то, что ее язык, «язык такой молодой девушки, почти ребенка, поворачивается произносить такие непристойности, которые не позволит себе последняя девка из крепостных». Ошеломленная этим упреком и искренно не понимая, в чем она провинилась, матушка забыла предупреждение мачехи никогда не возражать отцу, и очень вежливо просила его объяснить ей, в чем заключалась непристойность в ее словах. Но отец грозно затопал на нее, кричал, что если она не понимает этого сама, то не поймет и его объяснений. К тому же не он, ее отец, должен ей объяснять подобные вещи, а особа, которая заменяет ей родную мать… Но обе они негодницы, не понимают ни женской скромности, ни женской чести.

Когда после этого мачеха с падчерицею выбежали из дому, моя мать, обнимая Марью Федоровну, сказала ей:

– Видно, ему ничем нельзя угодить!.. Господи, какой тяжелый характер у папеньки!

– Как тебе не стыдно, Шурочка! – возразила с упреком мачеха. – Вместо того чтобы пожалеть отца, ты его же осуждаешь. Подумай, как ему должно быть тяжело жить с таким характером, видя, как от него бегут самые близкие, и не уметь совладать с собою!.. Ведь это мука мученическая!..

Такая доброта и кротость так поразили мою мать, что она бросилась обнимать свою мачеху, называя ее «святой» и «ангелом доброты».

– Шурочка, дорогая, милая… никогда не называй меня так!.. – заливаясь слезами, говорила Марья Федоровна. – Твои слова – острый нож в сердце. Ты превозносишь мою доброту, а на душе моей великий грех, и никогда мне не замолить его!.. Ведь я дала обет перед святым алтарем делить с мужем горе и радость, нести ему любовь, совет и ласку!.. А что я делаю? Чуть его завижу – бегу, чтобы только не попадаться, ему на глаза, чтобы было себе полегче, поспокойнее… Если бы я выждала минуту-другую, когда он подобрее, да попыталась бы представить ему, как необходимо для него иной раз подойти к тебе с лаской, хотя изредка дать тебе возможность поболтать с ним о пустячках девичьих, ведь ты бы ему всю душу отдала. Конечно, человек он суровый, сразу бы это не удалось, иной раз мне, быть может, и сильно бы досталось… Так ведь если бы я была такою хорошею, какою ты меня представляешь, разве бы думала я только о себе? Неужели ты не понимаешь, что это тяжкое прегрешение?

– За меня-то, мамочка, вы, пожалуйста, не обвиняйте себя!.. Когда мы возвращались с папенькой из института, я то и дело заговаривала с ним… мне даже трудно было молчать, но он каждый раз так резко обрывал меня, что мне – волей-неволей пришлось совсем замолчать…

– Я не обвиняю тебя, что ты не сумела к нему подойти: ты – дитя, характеров людей не знаешь, жизни еще не могла обдумать… А я и его побольше тебя знаю, и жизнь лучше понимаю… Я должна была, я обязана была сблизить тебя с отцом и самой стоять поближе к сердцу мужа, переломить себя… Так не расхваливай меня, не превозноси: я этого не заслуживаю.

Отношения между мужем и женою вконец испортились, когда в деревню приехали сыновья Степана Михайловича, молодые офицеры. Но в первое время их приезда все шло довольно гладко.

Степану Михайловичу не приходилось давать наставлений своим сыновьям, как обращаться с мачехою, – они были вполне вышколены: почтительно расшаркивались перед нею, подходили к ее ручке, называли ее chere maman[5], умели вести беседу с отцом без излишней живости, – одним словом, в точности исполняли все требования светской вежливости и сыновнего почтения по этикету того времени. Однако после нескольких дней своего приезда, увлеченные привлекательностью и добротою мачехи, молодые люди стали все чаще искать ее общества. Этому сближению помогало и то, что усадьба Бухоново лежала в стороне от большой дороги и еще далее от какого бы то ни было, хотя бы даже маленького, уездного городишки; соседей было мало, да и те летом редко заглядывали в поместье деда. И вот оба брата, Иван и Николай, их сестра Саша (моя мать) и их мачеха без предварительного соглашения между собою стали вместе собираться каждый раз, когда хозяин дома уезжал по делам. Тогда они весело проводили время вчетвером и точно так же прерывали оживленный разговор на полуфразе и разбегались по разным комнатам, когда раздавались шаги деда или еще издали звенел колокольчик, напоминавший о его возвращении.

Но это невинное времяпрепровождение было внезапно грубо нарушено. В доме был орган; когда однажды хозяин куда-то уехал, Марья Федоровна приказала горничной вертеть ручку органа, и молодые люди так увлеклись танцами, что не заметили его возвращения. Разыгралась отвратительная сцена: муж в неистовстве топал ногами на жену, кричал, что «она отняла у него родных детей, что она обольщает пасынков», и уже бросился к ней с поднятыми кулаками, но сыновья загородили ее от него, упали перед отцом на колени, целовали его руки, умоляли пощадить ее. Но это только вызвало в дедушке неистовый взрыв ревно-

[5] дорогой маменькой *(франц.)*.

сти и негодования, и он начал осыпать непечатного бранью и сыновей и жену. И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в эту минуту не раздался под окнами звон бубенцов и колокольчика. Приехавшим гостем оказался Николай Григорьевич Цевловский.

Дед был до крайности любезен с моим покойным отцом и упросил его подольше погостить; рады этому были и остальные, так как понимали, что отвратительные семейные сцены при нем не могут возобновиться.

Николай Григорьевич, только что поселившийся в имении своих покойных родителей, в селе Погорелом, оказался самым близким соседом дедушки. После первого своего визита в Бухоново Цевловский посетил еще несколько раз дедушку и очень скоро сделал формальное предложение его дочери. Получив согласие, он стал торопиться со свадьбой, говоря, что он желает, чтобы на ней присутствовали братья невесты, которые уже начали поговаривать о своем отъезде. Спешка со свадьбой вполне совпадала и с желаниями дедушки, вероятно, потому, что он хотел поскорее сбыть с рук всех своих детей, нарушивших заведенный в доме порядок.

– Ну, что же, мамашечка, блестящий бал был на вашей свадьбе? Все так происходило, как вам было обещано? – спросила я матушку. – И *«он»* с гитарою в руках и на коленях перед вами воспевал вашу красоту?

– Ах ты дрянь, – закричала на меня мать, хотя у меня уже были в то время свои дети. – Как ты смеешь говорить *«он»,* когда дело идет о твоем покойном отце!

Хотя из воспоминаний матушки о старине видно было совершенно ясно, что она весьма не одобряла поведения дедушки и отношения его к детям и жене, хотя она впоследствии сильно прониклась идеалами 60-х годов, но она до конца жизни сохраняла многое из старинных понятий и взглядов. Одно из главных житейских правил, которым она всегда руководилась, состояло в том, чтобы немедленно «обрывать» своих детей, когда кто-нибудь из них, по ее понятию, «забывался», то есть говорил и делал не так, как она находила это нужным. При этом она ни малейшего внимания не обращала на то, были ли ее дети малолетними или совсем немолодыми людьми, происходило ли это в кругу домашних или в большом обществе. Матушка была убеждена в том, что такое зло нужно пресекать немедленно. Но, резко оборвав кого-нибудь из нас, она после этого не дулась на нас, не ворчала, а продолжала разговаривать с нами как ни в чем не бывало в самом благодушном тоне. И мы, ее дети, совершенно привыкли к этому вздергиванию нас от времени до времени. Будучи взрослыми и сказав что-нибудь не так, как у нас это допускалось домашними обычаями, кто-нибудь говорил ей: «Ну, мамашечка, а разнос?… Вы и забыли? Раскатайте-ка его хорошенько!..» Если матушка была в веселом настроении, это сходило с рук, а если в дурном, то за этим следовали нотации продолжительнее обыкновенного, и тогда уже доставалось не только тому, кто провинился, но еще более тому, кто осмеливался учить ее, как поступать с провинившимся.

– Дорогая, не сердитесь… расскажите же про вашу свадьбу, – приставали мы к ней.

– Что же, свадьба была богатая! За неделю верховые разосланы были с приглашениями. Но не было ни гитары, ни танцоров со шпорами, кроме моих братьев-офицеров. Мы с Марьей Федоровной много танцевали и веселились, но только все почти в своей компании, то есть с моими братьями и Николаем Григорьевичем. Когда наехали гости, я просто была поражена: увальни какие-то, медведи! Свадьба моя дорого обошлась моему отцу и принесла ему только одни неприятности: огорчали его гости, огорчали жена и сыновья, да и мы с Николаем Григорьевичем не доставили ему особенного удовольствия… Ах, детушки, не понравились бы и вам помещики того времени! Конечно, вы не стали бы, может быть, винить их за то, что они были совсем какими-то неотесанными… А я просто не могла смотреть на них без смеха. Но они поражали меня не только своею неуклюжестью. Хотя я до своей свадьбы совсем не бывала в обществе, но все же поняла, что большая часть их были

люди грубые, необразованные, а шутки, остроты и намеки их были до невероятности неделикатны и даже грязны. Николай Григорьевич резко выделялся среди них и манерами и разговорами. Нужно вам сказать, что, несмотря на свою застенчивость, я уже до свадьбы перестала дичиться своего жениха и разболтала ему обо всех институтских делишках. Потомто я, конечно, поняла, что он выказывал интерес к моим россказням только для того, чтобы возбудить мое доверие к нему, – ведь ни о чем другом я и говорить-то тогда не могла. Он знал фамилии моих любимых подруг, каждой классной дамы, знал характеристику и прозвище каждой из них, запомнил, в чем различие между «мовешками» и «парфетками», «подлипалами» и «славнушками», «отвратками» и «подхалимками».

– Смотрите, смотрите, – говорил он мне, указывая на помещицу очень непрезентабельного вида, видимо желавшую к нам подойти, – к нам приближается «змея подколодная» (прозвище одной моей классной дамы), – скорей убежим от нее на другой конец… – И он, не прекращая танца, несся со мной на другой конец залы. Я хохотала до упаду… Подходит мой отец и, обращаясь к Николаю Григорьевичу, спрашивает его, чему мы так смеемся. Тот был в таком веселом настроении, что, не меняя тона, отвечал ему: «Да за нами неслась целая стая „мовешек“, „фурий“ и „змей“…»

– Что же это значит?

– Это все Шурочкины институтские приятельницы.

И, не обращая внимания на моего отца, он продолжал шутить в таком же роде. Я от удовольствия прыгала, смеялась и тоже забыла о батюшке. Сердито пожимая плечами, он уходил от нас недовольный и подходил к другой группе, где его жена, оживленно болтая, танцевала с одним из его сыновей или отдыхала после танца, окруженная гостями, которые засыпали ее своими глупыми комплиментами. Но вот пробирается он к наиболее почтенным гостям, а кто-нибудь из них кричит ему: «Ишь ты, старый греховодник, какую себе кралю подцепил!» или: «Ах ты, старый хрен, поди, как у тебя под сердце-то подкатывает, что все около твоей молодухи увиваются!»… А то вдруг кто-нибудь его окликнет, точно за делом, а сам закричит ему на всю залу: «А ведь женка-то от тебя, старого, сбежит, как пить даст, сбежит!»

Когда мы потом с мачехой вспоминали о свадьбе, мы много толковали о том, как все это было тяжело для отца. Недаром после этого он так круто изменился к своей жене.

– Мамашечка! – вдруг спросила матушку одна из моих сестер. – Ко времени вашей свадьбы вы уже, конечно, успели влюбиться в отца?

– Никогда в жизни я не задавала себе таких глупых вопросов! Все эти ваши слова о страстной любви, о неземных увлечениях – только одни пошлости, и больше ничего… Начитались вы глупых романов, вот такие фразы и сыплются у вас, как горох из мешка. Вы считаете даже, что счастливый брак не может быть без страстной любви, а я нахожу ее только помехою. Достаточно я видала браков по страсти… Вот хотя бы взять Марью Васильевну (наша дальняя родственница). Родители отказали ее жениху. Она отчаянно убивалась и в конце концов обвенчалась тайком. А через полтора года муженек уехал по делам, да и был таков, она же с ребенком осталась без куска хлеба и возвратилась в родительский дом. Я очень глупо вышла замуж, сознаюсь, вышла замуж только из-за бала, и что же? Прожила с мужем двадцать лет душа в душу, до самой его смерти… Нас чуть не вся губерния знала, и все говорили, что другую, более счастливую пару, чем мы с Николаем Григорьевичем, трудно найти в нашей местности.

Это было вполне справедливо: помещики и помещицы, хорошо знавшие моих родителей, вспоминая прошлое, а следовательно, и тот разврат, который повсеместно царил среди них во время господства крепостного права, указывали, как на совершенное исключение, на моих родителей.

Лично я не знала ни дедушки, ни его второй жены, – оба они умерли гораздо раньше моего появления на свет. Все, что я описываю здесь о них, я узнала от близких мне лиц, и более всего из постоянных рассказов о них моей матери.

Дедушка Степан Михайлович был помещиком средней руки; он имел два имения и, кроме того, владел еще маленьким фольварком, Васильковом, находившимся верстах в восемнадцати от Бухонова; крепостных у него было более ста душ. Жил он в большом доме, но так плохо поддерживал постройку, что она после его смерти совсем развалилась, а скоро затем была растаскана по бревнам. Несмотря на это, он вел хозяйство на широкую ногу, держал огромный штат прислуги: «девок», лакеев, казачков, кучеров, имел и выездных лошадей, и несколько экипажей, но свободных денег, как это было тогда и с другими помещиками, у него никогда не было. Как только в них являлась необходимость, приходилось экстренно продавать что-нибудь из имения: какой-нибудь лесок, нескольких лошадей или коров и крестьян целыми семьями. За второю женою дедушка не взял почти никакого приданого, кроме домашней обстановки.

Марья Федоровна лишилась матери в самом раннем детстве. Когда ей исполнилось лет восемь-девять, отец отдал ее в интернат одного из самых модных московских пансионов. Он и раньше вел беспутный образ жизни, а сделавшись вдовцом, стал так кутить, что привел в полное расстройство свое, когда-то хорошее, имение. После его внезапной смерти опекуном Марьи Федоровны, в то время еще не кончившей пансионского курса, назначен был муж ее двоюродной сестры. Он гораздо более заботился о себе, чем об опекаемой им бироте. Ко времени окончания воспитания Марьи Федоровны у нее уже не было ни имения, ни даже дома: все было продажно с молотка, все вырученные деньги, по словам опекуна, пошли как на покрытие громадных долгов ее отца, так и на необходимые траты по ее воспитанию. Впоследствии, однако, оказалось, что имение и дом были проданы подставному лицу и через несколько лет сделались собственностью опекуна.

По выходе из пансиона Марьи Федоровны ее, как бы из милости, взял к себе опекун. Как на величайшую свою заслугу он указывал на то, что сохранил для сироты прекрасную, по тем временам, обстановку ее родительского дома и платья ее матери. Степан Михайлович Гонецкий, встретив несколько раз молодую девушку, сделал ей предложение, но она отказала ему.

Местные обыватели упорно говорили, что после того, как Гонецкий получил отказ от Марьи Федоровны, он вошел с опекуном в такую сделку: если тот постарается склонить молодую девушку на брак с ним, он, Гонецкий, не потребует от него отчета по опеке, за который ему приходилось сильно побаиваться, не поднимет дела о незаконной продаже имения Марьи Федоровны.

Состоялось ли такое соглашение между дедушкою и опекуном, осталось неизвестным даже для Марьи Федоровны, но она рассказывала моей матери, что с тех пор, как она отказала дедушке в своей руке, жизнь в доме опекуна сделалась для нее невыносимой. Его жена, то есть ее двоюродная сестра, их взрослые дочерни сам опекун чуть не ежедневно настойчиво убеждали ее принять предложение дедушки. Так как она не соглашалась на это, то они стали возмутительно обращаться с нею и попрекали ее каждым куском. Наконец опекун объявил ей, что он нашел место в губернском городе и не может взять ее со своею семьею, так как находится в стесненном материальном положении. Впоследствии оказалось, что он никуда не собирался уезжать, но молодая девушка пришла в отчаяние, не зная, что ей делать с собой. Кроме двоюродной сестры, жены опекуна, у Марьи Федоровны не было на свете ни одного близкого лица, с кем бы она могла посоветоваться, и она не нашла никакого другого выхода из своего положения, как принять предложение Гонецкого, когда тот повторил его.

Рассказывая моей матери о своей двухлетней брачной жизни, Марья Федоровна говорила ей, что Степан Михайлович до приезда его детей никогда не был с нею ни жесток, ни

груб; напротив, он старался окружить ее полным довольством, а когда отлучался в город, привозил ей щедрые подарки. Но, несмотря на это, жизнь с мужем становилась для нее все невыносимее. Пока она ожидала ребенка, она кое-как еще мирилась с своим положением, но когда она потеряла и эту надежду, она решилась уйти в монастырь. Однако она боялась приступить с этой просьбой к мужу, и ее стала душить тоска, которую она не могла скрыть даже от него. Степан Михайлович стал часто заставать ее в слезах и журил ее, говоря, что каждая на ее месте только радовалась бы, живя в таком довольстве, что пусть она скажет ему, чего она еще хочет, и он все сделает, лишь бы она не тосковала. Эти утешения совсем не утешали ее, и всю надежду она возлагала на приезд из института мужниной дочери Александры, на то, что она будет жить вместе с ними, и ее жизнь таким образом скрасится присутствием молодой падчерицы, которой она постарается быть родною матерью. Но и эти мечты несчастной женщины не осуществились.

Поспешные приготовления к свадьбе моей матери, частые посещения Бухонова моим отцом в качестве жениха – все это сдерживало домашние сцены между мужем и женою. Впрочем, они не могли происходить и потому, что дедушка в это время редко бывал дома. Чтобы дать хотя самое скромное приданое дочери и сыграть свадьбу, соответственную его положению, ему часто приходилось ездить как в город, так и в свое другое имение. Это дало возможность молодежи по целым дням оставаться вместе. Хотя дедушка теперь мало сидел дома, но он не мог не заметить, что и мой отец, сам по себе не будучи уже в то время очень молодым человеком, примкнул к кругу молодежи и что все они одинаково относились к Марье Федоровне с большим вниманием. Матушка, рассказывая о Марье Федоровне, обыкновенно прибавляла, что каждый, кто хотя несколько сближался с нею, проникался к ней необыкновенною симпатиею. Так относились к ней и помещики, и крестьяне, и близкие и дальние, и свои и чужие. Ее привлекательная внешность вполне гармонировала с ее нравственными и умственными качествами. Будучи по натуре чрезвычайно кроткою, но живою, она в то же время была умна, находчива и внимательна к каждому.

После свадьбы моей матери крутой и властный нрав дедушки настолько обострился, что он начал уже не только придираться ко всякому пустяку, но и давать волю рукам. Жизнь молодой женщины сделалась настоящей каторгой, и она однажды бросилась на колени перед своим мужем, умоляя его отпустить ее в монастырь. Но это-то окончательно и взбесило дедушку. Его ненависть к монастырям была всем известна: в разговорах с соседями он обыкновенно приравнивал их к «непотребным домам». Просьба жены показалась ему неслыханною дерзостью, презрением к его взглядам. Он тут же избил ее до полусмерти и объявил, что вместо монастыря он на другой же день отправит ее в Васильков о.

В фольварк Васильково дедушка ссылал всех чем-нибудь провинившихся перед ним крестьян, которые должны были, смотря по времени года, заниматься рубкою дров или выкорчевыванием корней деревьев, а также косьбою лугов, лежащих за болотами, непосредственно примыкавшими к этому жалкому поселку. Простой народ называл Васильково «Выселками» или «Ссыльным поселком». Над опальными крестьянами, которые в наказание поселены были здесь без своих семейств, надзирал особый староста, тоже простой крестьянин, единственный неопальный человек среди васильковского люда, а потому и живший здесь со своею семьею. Этот поселок состоял из сенных сараев и построек для лошадей, нескольких изб, в которых жили опальные крестьяне, и из конторы – тоже простой хаты, только несколько побольше остальных, – которая служила жилищем старосты и его семьи. Болота, бесконечные болота и топкие лужайки тянулись вокруг. Дедушка приказал поселить свою молодую жену в конторе этого поселка.

Итак, жена зажиточного помещика, жившая до тех пор в довольстве и холе, должна была поселиться в болотистой местности и жить без всяких средств, так как муж ни при ее отъезде, ни впоследствии не давал ей ни денег, ни провизии, ни скота, ни прислуги. Чтобы

сделать для жены это изгнание еще более унизительным и чувствительным, дедушка в день ее отъезда встал с рассветом и, увидав на дворе телегу, в которой обыкновенно вывозили навоз, закричал на весь двор так, чтобы его могли услышать все крестьяне, находившиеся там: «В этой телеге вы вывозите навоз из хлевов, а сегодня будете вывозить навоз из моего дома!» И он приказал запрячь в навозную телегу рабочую лошадь и везти свою жену в Васильково. Затем, подозвав к крыльцу двух дворовых, которые должны были везти Марью Федоровну, он под угрозою строгого наказания запретил им класть на подводу какие бы то ни было вещи, кроме ее двух сундуков с одеждою. Когда одна из «девок» пробежала мимо него с подушками, не зная, что и это запрещено класть на воз, дедушка ударил ее по щеке со всей силы, вырвал у нее подушки и бросил их на землю.

Только что этот печальный кортеж, то есть Марья Федоровна, сидящая на сене в навозной телеге с крестьянином вместо кучера, и сзади подвода с ее сундуками, сделали несколько верст по скверной осенней дороге, как их догнал верховой с приказанием от барина немедленно вернуться назад. Это известие было принято за знак того, что барин положил гнев на милость и позволяет своей ни в чем не повинной жене возвратиться снова к нему. Оба крестьянина, сопровождавшие Марью Федоровну, соскочили с телег и бросились целовать ее руки. Выходили из хат и крестьяне навстречу своей госпоже, плакали от радости и крестились, приговаривая: «Слава богу, слава богу». Но когда Марья Федоровна подъехала к дому, дедушка вышел на крыльцо и закричал жене, чтобы она не смела ни на шаг никуда отлучаться из Василькова, чтобы она безвыездно проживала там, что, если она осмелится нарушить его приказание, он отправит ее туда, куда Макар телят не гоняет.

Вторичный отъезд Марьи Федоровны, видимо, вызвал в крестьянах душевное сокрушение о своей бывшей барыне, которая была с ними всегда приветлива и добра: они выходили из своих хат с образами, крестили и благословляли ее, рыдая навзрыд, целовали ее руки, кланялись земно. Бабы связывали ноги и крылья куриц и совали их в телегу, ставили туда лукошки с яйцами, узелки с ковригами хлеба. Одна баба выбежала с подушкою в руке и, подсовывая ее под голову полуживой Марьи Федоровны, сказала: «Она у меня чистенькая, барынька, не побрезгуй… Дочке в приданое готовила…» А старуха, сняв с шеи кипарисовый крестик на снурке и надевая его Марье Федоровне, проговорила, обливаясь слезами: «Не обессудь, болезная… Ничего нетути у самой… от покойного сынишки, младенца Ванюши, он тебя сохранит своими чистыми молитвами».

Помещичий дом в Бухонове стоял на невысокой горе, внизу которой расстилалось прекрасное озеро на десять верст в длину. На противоположном его берегу, наискось, но еще на более возвышенном месте, стоял дом моих родителей Цевловских. Из Бухонова в Погорелое нужно было сухим путем ехать в объезд верст пятнадцать, а по озеру крестьяне в своих душегубках переезжали из одного имения в другое часа в полтора. Мещанин, бывший по своим делам в Бухонове в Момент изгнания Марьи Федоровны, возвращался в свою лавку, находившуюся недалеко от Погорелого, и завернул к моей матери, чтобы рассказать ей все, что только что произошло с ее мачехою. Таким образом, мои родители очень скоро узнали о случившемся в Бухонове. Мой отец стал сейчас же торопить людей, чтобы они запрягали бричку и приготовляли подводы под вещи, а матушку просил как можно скорее укладывать вещи и провизию для Марьи Федоровны, необходимые в хозяйстве на первых порах. Но вдруг в самый разгар этих сборов матушке пришло в голову, что родной отец может проклясть ее за помощь мачехе. Тогда эти родительские проклятия были в большом ходу, и каждый боялся пуще смерти накликать их на себя. Она бросилась к мужу и передала ему свою мысль. Но он начал стыдить ее за то, что она в такую тяжелую для Марьи Федоровны минуту более думает о себе и о проклятиях взбалмошного старика, чем о невинно погибающей женщине, которая выказала ей столько ласки и любви.

– Да, – говорила нам при этом матушка, – хотя я во многих взглядах расходилась с вашим отцом при его жизни, но всегда понимала, особенно же ясно сознаю это теперь, что я и в умственном, и в нравственном отношении была ниже его. Вам трудно поверить, но клянусь вам всеми святыми, что ваш отец уже в 30-х и 40-х годах, следовательно, в эпоху злейшего крепостничества, проводил те же гуманные идеи, какие разделяете и вы. Когда я что-нибудь начинаю делать, я всегда думаю: а как бы Николай Григорьевич взглянул на это, что бы он сказал?… Да, он был лучший из людей, которых я знала!

И вот матушка с отцом торопили людей, чтобы они скорее клали на подводы все, что было приказано: посуду, перины, подушки, провизию, – и сами немедленно отправлялись в дорогу. Из Погорелого в Васильково дорога была короче и лучше, чем из Бухонова; к тому же мои родители ехали быстро и не останавливались, а Марью Федоровну везли шагом-, и ее приходилось выносить из телеги и класть на лавку в нескольких попадавшихся по дороге хатах, – так плохо чувствовала она себя. Вследствие этого, когда тележонка Марьи Федоровны въехала во двор Василькова с одной стороны, с противоположной внеслась туда же бричка моих родителей, запряженная тройкой.

Марью Федоровну перенесли на руках в экипаж родителей, пока на скорую руку приготовляли для нее комнаты, точнее сказать – избу, или контору, перегороженную на три клетушки.

Ссылка на болото потрясла молодую женщину своею неожиданностью, проводы же крестьян тронули ее до глубины души, и ей стали приходить мысли, которые раньше не посещали ее. Она горько упрекала себя за то, что никогда не думала хотя чем-нибудь облегчить жалкое положение крестьян, и, по ее словам, выходило, что она «задаром приняла их ласку, жалость и любовь к себе». «Правда, я не могла многого сделать для них, но должна была пытаться хоть защищать их. Конечно, Степан Михайлович – человек суровый, – рассуждала она., – но до последнего времени он любил меня по-своему… Может быть, если бы я стала просить его за ссыльных в минуты, когда проходили его вспышки, он, пожалуй, и не разлучал бы их с семьями либо прощал бы их через месяц-другой. Если бы он даже обругал меня за то, что я суюсь не в свое дело, все же у меня на сердце не было бы так тяжело… А я думала только об одном: чтобы не перечить ему, чтобы лишний раз не слышать его наставительного тона, значит, делала только то, чтобы мне самой было спокойнее».

Мысль, что к ней, ничего не сделавшей хорошего крестьянам, они отнеслись с таким сочувствием, – жила в ней всю жизнь. На свое изгнание она стала смотреть как на перст провидения, указывавший ей быть матерью, утешительницею и помощницею ссыльных крестьян, с которыми судьба ее столкнула. Будучи женщиной религиозной, она придавала чудотворное значение кипарисовому крестику, который надела ей на шею старуха, когда ее отправляли в ссылку; она верила, что покойный младенец Ванюша перед престолом всевышнего действительно будет ходатайствовать за нее., Как на явный признак такого заступничества, она указывала на то, что мои родители, мало знавшие ее до этого несчастия и которым она, собственно, и родней-то настоящей не приходилась, явились ее истинными благодетелями и друзьями.

– Вы знаете, детушки, – говорила нам мать, – я в павлиньи перья наряжаться не люблю, представлять себя лучше, чем я была и есть, – не в моем характере, а потому и скажу вам, что нередко, когда ваш отец заводил разговоры с Марьей Федоровной на серьезные темы, я не все понимала, а когда они говорили о помещиках, о крепостных, о воспитании детей, мне не все было по нутру. Мачеха в ту пору как-то больше, чем я, подходила к его взглядам. Я же все эти идеи воспринимала мало-помалу, медленно, многие из них усвоила только после его смерти, а кое-что мне стало ясно уже из споров и разговоров с вами и вашими знакомыми, когда вы повыросли. При жизни же вашего отца я частенько огорчала его непониманием

многого, оскорбляла его чистые помыслы, его великую душу. – И при этом воспоминании матушка залилась слезами.

– Мамашечка, ведь вы же хорошая! – утешали мы ее, тронутые ее искренностью. – Ведь если вас всю жизнь любил такой человек, как отец, значит, он видел, что вы по натуре – человек очень хороший, только у вас были некоторые привычки того времени…

– Вот именно, привычки… Да, привычки были дурные, по нынешним временам даже постыдные, – говорила она, утешенная нашими словами, зная, что мы говорим искренно и можем быть даже грубоватыми с нею, но не способны льстить в угоду ей.

– Расскажите же, голубчик, – в чем и как выражались у вас идейные размолвки с отцом?

– А вот, бывало, Марья Федоровна говорит ему что-нибудь в таком роде: «Как это обидно, что для нас, помещиков, нужно какое-нибудь тяжелое горе для того, чтобы мы сделались людьми»…

– Да не всех этому и горе научает, – отвечает ей Николай Григорьевич, – наши помещики глубоко убеждены в том, что только они одни люди, а крестьяне – скоты, и что с ними как со скотами и поступать надо.

Подобные рассуждения их обоих меня всегда злили, и я начинала доказывать им, что крестьяне действительно часто поступают как скоты, приводила примеры, как они зверски убили того или другого помещика, как надули, обокрали и т. д.

– А от кого ты все это слышишь? – возражал муж. – От тех же помещиков! Но тебе не безызвестно, как они до смерти засекают крестьян, до какой нищеты доводят их! Что же удивительного, что крестьяне зверски убивают своих тиранов.

А то, бывало, с сердцем прибавит:

– Удивительно, Шурочка, что в тебе, именно в тебе, так крепко засела крепостная закваска! С раннего возраста ты воспитывалась в институте, крестьяне лично не сделали тебе ничего дурного, ты еще и теперь ребенок, жизни совсем не знаешь, а рассуждаешь как заправская помещица!

Перед отъездом из Василькова мои родители обещали часто навещать Марью Федоровну и ее умоляли приезжать к ним в Погорелое. Но она испугалась даже этой мысли, утверждая, что Степан Михайлович не запретил и не может запретить моим родителям бывать у нее (хотя они могут уже и этим навлечь его гнев на себя), а ей он прямо приказал безвыездно жить в Василькове, объявил, что, если она нарушит его волю, он еще более ухудшит ее положение.

Все эти разговоры шли в крошечных комнатах, в которых с утра до вечера толкались люди, занятые отделкою и чисткою жилища Марьи Федоровны; следовательно, они слышали все, о чем говорили господа. В день отъезда, когда уже был подан экипаж моих родителей, все «ссыльные», а также семья старосты и люди отца, привезенные им для услуг, собрались на дворе и при появлении моих родителей бросились на колени перед ними, упрашивая их, чтобы они приезжали к Марье Федоровне и чтобы она навещала их; при этом они клялись, что никто из них никогда не проговорится об этом «старому барину».

Хотя Марья Федоровна была уверена в том, что крестьяне свято сдержат свое слово, но она не сомневалась, что ее муж, по крайней мере впоследствии, когда она стала часто ездить в Погорелое, знал об этом, но не показывал вида, что это ему известно, и держал себя так, точно жены его никогда не существовало на свете: он никогда не писал ей, не делал относительно ее никаких распоряжений, ничего не посылал ей. Но о своем несчастном фольварке он не забывал: он по-прежнему ссылал туда провинившихся крестьян, а некоторых из раньше сосланных приказывал возвратить. Вообще дедушка с момента изгнания своей жены ни разу не видал ее вплоть до самой ее кончины.

До первых родов моей матери мои родители часто посещали Марью Федоровну, но она долго не решалась навещать их. Когда они приезжали в Васильково, большая часть времени

проходила у них в совместном чтении. Отец читал вслух Пушкина, а также сочинения Руссо и Вольтера в подлиннике, так как все трое прекрасно знали французский язык.

Рассказывая нам о совместном чтении втроем, матушка при этом чистосердечно сознавалась, что как это чтение, так и рассуждения отца по поводу прочитанного несравненно более живо воспринимались ее мачехою, чем ею, может быть потому, что она была еще очень молода. К тому же институтское воспитание того времени, не давая ни знаний, ни малейшего умственного развития, в то же время притупляло наблюдательность, а Марья Федоровна была и старше ее на четыре года, и воспитывалась не в закрытом заведении, а в хорошем пансионе и имела возможность думать и наблюдать все ее окружающее.

Марья Федоровна, по словам моей матери, была в неописанном восторге от этих чтений, которые открыли ей, как она говорила, новый мир. Когда отец уезжал, она на время удерживала у себя книги, переписывала то, что ей особенно нравилось, и, обладая замечательною памятью, произносила наизусть с необыкновенным выражением большие отрывки из названных писателей. Она вообще вела в Василькове деятельный образ жизни: серьезно занималась своим маленьким хозяйством, желая извлечь из него наибольшую выгоду, в то же время постоянно посещала ссыльных крепостных, с которыми сроднилась душою, прекрасно ознакомившись с нуждами каждого из них, шила им рубахи, лечила их, делилась с нуждающимися всем, чем могла, призывала всех их к себе каждое воскресенье, зажигала восковые свечи у образов и лампадку и читала им вслух молитвы и Евангелие.

Не прошло и нескольких недель после водворения на новом месте Марьи Федоровны, как она стала убеждать моих родителей навестить ее мужа. Отправляясь к дедушке, мои родители думали, что он или не примет их за участие их к его жене, или что после этого визита им уже не придется более навещать его. Но дедушка встретил их чрезвычайно радушно и в продолжение всего дня, который они пробыли у него, не проронил ни слова о своей жене.

Матушка на другой же день отправилась к мачехе, поджидавшей ее с особенным нетерпением. Когда она на этот раз вошла в горницу к мачехе, она, к крайнему своему удивлению, застала у нее местного священника, весьма доброго и умного человека. Этот визит бедного деревенского попа, находившегося в материальной зависимости от местных помещиков, был смелым и благородным поступком с его стороны, а потому Марья Федоровна сказала падчерице, чтобы она не стеснялась присутствием батюшки и рассказала при нем все, как было. Когда матушка уверяла ее, что о ней не было произнесено ни слова, Марья Федоровна вытащила свой заветный крестик, перекрестилась, поцеловала его с благоговением и произнесла: «Это меня защищает покойный младенец Ванюша своими чистыми молитвами…» Священник заметил при этом: «Степану Михайловичу небезызвестно, что порядочные люди нашей округи полюбили Марью Федоровну за ее кроткое обхождение со всеми; он знает и то, что Николай Григорьевич – не последний человек: хотя он и очень недавно поселился у нас, но зарекомендовал себя как образованный помещик; к тому же он состоит в большой дружбе с предводителем дворянства и с живущим за границею князем Г. – богатейшим человеком с большими связями[6]. Вот Степан Михайлович и принимает все это в расчет: боится еще более теснить свою супругу, чтобы не нажить себе „истории“».

С появлением в доме моих родителей маленького существа жизнь получила для Марьи Федоровны новый интерес. Как только ей дали знать о наступивших родах падчерицы, она уже не могла более думать об угрозах своего мужа и в первый раз отправилась в Погорелое. К тому же, на ее счастье, Степан Михайлович наотрез отказался быть крестным отцом сво-

[6] Возможно, речь идет о князе Н. Б. Голицыне, дилетанте-литераторе и музыканте, одном из основателей петербургского Общества любителей музыки. Он же, по-видимому, имеется в виду в главе III.

его первого внука. Его обязанность должен был взять на себя кто-то другой, но зато Марья Федоровна могла быть крестною матерью.

Своего крестника и внука она стала обожать с момента его появления на свет божий. Она не отходила от него, была в восторге, когда ей приходилось спать с ним в одной комнате, и подбегала к нему каждый раз, когда тот начинал пищать, хотя в детской находилась кормилица новорожденного. С тех пор Марья Федоровна стала часто бывать у родителей и гостила у них по неделям, так как страстно привязалась к новорожденному, а когда тот впервые произнес «баба» (бабушке в это время шел двадцать первый или двадцать второй год), ее восторгам не было пределов.

После родов первого ребенка матушка скоро опять забеременела, и Марья Федоровна стала умолять моих родителей отдать ей на воспитание их первенца. Но отец не согласился на это, прежде всего потому, что находил болотный воздух Василькова вредным для здоровья ребенка. Число внуков Марьи Федоровны увеличивалось с каждым годом, и она всех их обожала, нянчила, обшивала, забавляла.

Марья Федоровна умерла очень молодою, а именно-двадцати семи – двадцати восьми лет, прожив в Василькове лишь шесть лет. Случилась ли эта преждевременная смерть от болотного воздуха поселка, или от того, что неудачный брак истерзал ее душу, от того ли, что, посещая Погорелое, она не разбирала погоды, но скорее всего от всех этих причин вместе она уже через три-четыре года после своей ссылки стала заметно хиреть, кашель все усиливался, и она таяла как свечка.

Еще в то время, когда Марья Федоровна только что разошлась со своим мужем, мой отец известил об этом ее пасынков, Ивана и Николая Гонецких. Они немедленно, тот и другой, стали писать ей нежные письма, посылали ей подарки и деньги, и эти добрые отношения к ней с их стороны не прекращались до ее смерти. Мало того: года через два после разрыва мачехи с мужем они приехали летом в Бухоново и, прежде чем отправиться к отцу, заехали к ней. Не желая, вероятно, чтобы отец узнал об этом от других, они сами сказали ему, что заезжали в Васильково. Они передавали сестре (то есть моей матери), что отец с удивлением взглянул на них, ничего не сказал и сейчас же перевел разговор на другую тему. А когда моя мать написала своим братьям, что на выздоровление Марьи Федоровны нет никакой надежды, они, несмотря на обязанности по службе, на ужасающую осеннюю распутицу, несмотря на отсутствие тогда железных дорог, выхлопотали себе короткий отпуск и приехали навестить свою мачеху, но застали ее уже в гробу.

Перед своей кончиной Марья Федоровна подозвала к себе матушку и просила ее после смерти не снимать с ее шеи кипарисового крестика, говоря, что он принес ей большое счастье: дал ей возможность сродниться с семьею моих родителей, прожить человеческою жизнью последние годы. Когда она скончалась, мой отец отправил верхового к Степану Михайловичу с известием о кончине его жены, но лишь только успели «обрядить» покойницу, как приехали ее пасынки, прискакавшие в Васильково на перекладных. Скоро после них в комнату усопшей вошел и дедушка. Первое, что он увидал, – всех своих троих детей, стоявших на коленях вокруг покойной и горько рыдавших, а ссыльные крестьяне окружали ее маленький домик снаружи и набожно молились. Дедушка подошел к гробу, сделал земной поклон, поцеловал руку усопшей и, ни с кем не разговаривая, ничего не расспрашивая, не здороваясь и не прощаясь, тотчас же вышел из комнаты. Он не был на похоронах и перестал куда бы то ни было выезжать из своего поместья. Очень скоро после смерти Марии Федоровны пожар уничтожил все постройки Василькова; ссыльные крестьяне были возвращены на свои места, и больше туда никого не ссылали.

Дедушка пережил свою вторую жену лишь на несколько месяцев.

Глава II. Мой отец; его военная служба

– Влияние на его умственное развитие заграничных походов, жизни в Варшаве и любви к чтению. – Жизнь моих родителей в уездном городе. – Няня и ее значение в нашей семье. – Холера 1848 года. – Появление чужого ребенка. – Смерть отца. – Разорение семьи и ее несчастия. – Окончательный переезд в деревню. – «Чертов мост» и дорожные приключения

Когда моя мать, Александра Степановна Гонецкая, в 1828 году вышла замуж, ей было шестнадцать лет, а мой отец, Николай Григорьевич Цевловский, был более чем вдвое старше ее – ему шел тридцать восьмой год.

Члены моей семьи – мать, няня, мои старшие братья и сестры – вспоминали покойного отца не иначе, как с чувством глубочайшего благоговения и с горячею любовью, вторая же моя сестра Саша (во время смерти отца она была еще подростком) чуть не умерла от горя, лишившись его. Это благоговение перед памятью отца крайне удивляло многих наших родственников, а тем более соседей по имению, так как факт разорения отцом своего семейства был у всех налицо. Из всей нашей семьи только самый младший ее член, то есть я одна, долго скептически относилась к восторгам, с которыми у нас говорили о покойном отце. Это происходило отчасти оттого, что после смерти отца я осталась четырехлетним ребенком, совсем его не помнила и лишь смутно представляла себе даже его внешний облик, а отчасти и потому, что, когда я стала доискиваться причин культа его памяти, я была еще очень молодой девушкой. Я только что кончила тогда свое образование и после долгой разлуки с семьей приехала домой. Это было в освободительную эпоху 60-х годов, когда молодежь особенно критически относилась к людям крепостнического периода. С юным жаром и задором, вся погруженная в стремления и идеи этой кратковременной, но лучезарной эпохи, не зная еще ни жизни, ни людей, не получив достаточно солидного образования, а следовательно, и не имея возможности выработать правильное понимание исторической перспективы, я недоверчиво спрашивала себя и других: где и как мог отец приобрести и сохранить лучшие идеалы своего времени, как это особенно настойчиво утверждала моя любимая сестра Саша. Ведь он с ранней юности до женитьбы был военным, военная же среда того времени едва ли могла этому содействовать? Я высказывала даже уверенность (редко кто в молодости лишен самонадеянности), что жизнь в полку должна была наталкивать отца лишь на кутежи и попойки или, по крайней мере, сделать его светским человеком, чему могли содействовать его представительная наружность (это было видно по его дагерротипу[7]) и хорошие материальные средства за все то время, пока он был холостым. Но более всего мой скептический взгляд на отца поддерживался тем, что он владел крепостными: в освободительную эпоху мы, молодежь, с ужасом и отвращением смотрели на всех, так или иначе мирившихся с рабством и лишь по воле правительства порвавших с ним. Истинно идейный и гуманный человек, по нашему мнению, должен был освободить крестьян по собственной инициативе, а не по приказанию правительства.

Как-то однажды сестра Саша попросила меня пересмотреть с нею старый сундук, наполненный книгами, оставшимися после отца и испещренными на полях его замечаниями, и тетрадями, исписанными его рукою, которые она свято хранила и перечитывала.

[7] фотографии (от *франц.* Daguerre и *греч.* typos).

Когда я пересмотрела все это, я могла задавать относительно отца уже более определенные вопросы своим близким. Собранные мною сведения вполне совпадали с тем, что я нашла в его набросках и рассуждениях по поводу того или другого явления жизни, а также и с его служебным формуляром, сохранившимся у меня до настоящей минуты.

Мой отец был православный, как и его отец, но его мать была католичка и истая полька. Овдовев уже в ранней молодости, она вложила всю душу в воспитание трех сыновей: Максима (прозванного Максом), Андрея и младшего Николая (моего отца). Под ее бдительным надзором с ними занимались гувернеры-иностранцы. Оба старшие сына не обнаруживали любви к занятиям, и она отдала их в корпус, младшего же, своего любимца Николая, она оставила дома и дала ему блестящее, по понятиям того времени, первоначальное образование, для чего на первом плане требовалось усвоение нескольких иностранных языков. Сама же лично она более всего старалась привить ему страстную любовь ко всему польскому и к чтению книг. Она вполне достигла своей цели.

Мой отец, родившийся в 1790 году, лишился матери, когда ему было четырнадцать лет, после чего он вступил юнкером в петербургский уланский полк; лишь через несколько лет он был произведен в офицеры и нес военную службу почти до женитьбы. Хотя его служебный формуляр испещрен упоминаниями о походах и войнах, в которых он участвовал в продолжение всей своей двадцатичетырехлетней военной карьеры, но это не мешало ему много читать и тратить немало денег на покупку лучших произведений польской, французской и русской литератур. Его рассуждения и заметки, которые мне удалось прочесть на русском и французском языках (большая их часть была набросана на польском языке, которого я не знала), вполне убедили меня в том, что он не только усвоил лучшие идеи французских энциклопедистов XVIII и писателей XIX века, вроде Мицкевича (который, судя по восторженным отзывам отца, оказывался его любимым поэтом), но что он был страстным поклонником гуманных идей и по своему образованию стоял целою головою выше того общества, среди которого вращался. В его отзывах о только что прочитанных им книгах меня поражали не только его вдумчивость, но для того времени даже оригинальность мысли, живость впечатлений и наблюдательность, которые особенно сказывались в его рассуждениях по поводу общественных и политических явлений западноевропейской жизни, а нередко остроумное сопоставление их с фактами русской действительности. Его широкий кругозор и живой интерес к общественным вопросам были результатом не только чтения серьезных сочинений, но и его преисполненной разнообразия военной службы, которая на протяжении почти четверти века бросала его то в одну, то в другую европейскую страну. Он посетил не только Турцию и Молдавию, но и Пруссию, Саксонию, Австрию, Францию, два раза в продолжение некоторого времени жил в Париже и еще гораздо больше времени провел в Польше.

Мой отец начинает участвовать в походах и битвах с ранней молодости. Уже в 1805 году, то есть пятнадцатилетним юношею, он был в битве под Аустерлицем[8] в Моравии, а через два года – в двух сражениях: при Прейсиш-Эйлау и при Фридланде[9]. С 1809 по 1811 год включительно он участвовал в кампании против турок[10] и находился при осаде Браилова, Шумлы, Рущука и при взятии в плен войск турецкого визиря. В 1812 году его полк

[8] В районе Аустерлица (старое австрийское наименование города Славко в Чехословакии) 20 ноября 1805 года на Праценских высотах произошло сражение между армией Наполеона I и союзными войсками России и Австрии под командованием Кутузова и фактическим руководством Александра I.

[9] У Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск Калининградской области) 26–27 января 1807 года произошло кровопролитное сражение между войсками Наполеона I и русской армией. Все атаки французских войск были отражены. Под Фридландом (Восточная Пруссия) 2 июня 1807 года русская армия под командованием ген. Л. Л. Беннигсена была разбита французской – под командованием Наполеона I, что сделало возможным выход французов к русской границе.

[10] Речь идет о русско-турецкой войне, начатой в 1805 году Турцией, подстрекаемой французской и английской дипломатией. Войну эту Турция вела в союзе с Персией. В 1810 году русские войска одержали победу над турками близ Рущука и на левом берегу Дуная уничтожили всю армию великого визиря.

преследовал полчища Наполеона при их отступлении, а затем совершил поход через Пруссию и Саксонию и участвовал в знаменитой четырехдневной битве при Лейпциге против Наполеона[11], в 1814 году после нескольких сражений с французами он вместе с русскими войсками вступил в Париж, где и пережил низложение Наполеона и восстановление Бурбонов на правах конституционных монархов. Обратный поход отец совершил через Германию в Польшу, но вследствие того что в 1815 году Наполеон бежал с острова Эльбы и появился во Франции, отец должен был снова совершить поход с русскими войсками через Германию в Париж. Во время обратного похода отцу пришлось побывать в Варшаве в то время, когда уже были объявлены сначала основы польской конституции, а затем подписана и самая конституция Царства польского. Но и после этого, раньше чем выйти в отставку, он жил в Варшаве около двух лет.

Особенное значение в его умственном развитии, без сомнения, сыграли походы 1813–1815 годов, а также позднейшая жизнь в Варшаве: на его глазах, с одной стороны, совершилось обращение наполеоновской Франции в государство конституционное[12], с другой – развитие конституционной жизни в Царстве польском.

Прекрасно владея польским и французским языками, мой отец был принят в средние кружки польского общества, где он встречал писателей, художников и вообще, как показывали его заметки, вел знакомство не только с весьма образованными мужчинами, но и с женщинами, высоко развитыми в умственном отношении, попадавшимися тогда среди полек. Его наброски и рассуждения за этот период его жизни говорят о том, с каким живым интересом он относился к общественным вопросам и политике.

В то время когда жизнь в России была в полном застое, поляки Царства польского имели уже конституцию. Хотя она была неудовлетворительна во многих отношениях, но все же польское общество было оживлено выборами в сейм и разговорами о них.

«В польском обществе, – говорится у отца в одном из его набросков, – постоянно обсуждают речь императора Александра, сказанную им при открытии сейма в 1818 году, а также речи депутатов, ведут политические и философические споры, а у нас можно слышать разве как Никифор Сидорович подкузьмил своего приятеля при продаже ему коня, либо как помещик именитого рода, знатный своими связями и богатыми маетностями[13], растлевает своих крепостных девок, либо как некий почтенный муж, отец многочисленного семейства, дабы оттягать поемный лужок, во всех присутственных местах позорит родную сестру, возводя одну клевету срамнее другой. И уже во всех гостиных непрестанно раздаются россказни о том, как такой-то помещик за проступок одного крестьянина выдрал всех мужиков и баб своего фольварка от старика деда до пятилетней внучки. Почтенные гости внимают сему не с омерзением, а с веселием детской души, с апробацией[14], точно им повествуют о подвигах древних героев».

Сильное влияние оказал на моего отца и варшавский театр. Нужно помнить, что он был в то время для поляков не только любимым развлечением, но и искусством, имеющим громадное образовательное значение, одним из наиполезнейших средств для их служения страстно любимой отчизне. Варшавский театр был лучше обставлен и поставлен, чем русский столичный театр, и имел огромное влияние на всю жизнь моего отца. Будучи женатым и имея большую семью, он всегда проводил мысль, что из всех просветительных влиянии

---

[11] Под Лейпцигом (Саксония) произошло 4–7 октября 1813 года сражение между войсками союзных европейских государств и армией Наполеона I, известное под названием «Битвы народов». Поражение Наполеона в этом сражении привело к потере Францией всех завоеванных в Европе территорий.

[12] Имеется в виду «дарованная» Людовиком XVIII после первой реставрации (1814) цензовая конституция, делавшая возможным приход к власти, наряду с дворянством, верхушки финансовой и торговой буржуазии.

[13] В данном случае «маетностями» автор называет помещичьи имения.

[14] одобрением (от *лат.* approbatio).

наибольшее имеет театр, как первейшее средство для воспитания в молодежи благородных чувств. Эта мысль, всецело овладевшая им, заставила его впоследствии, несмотря на свои скромные материальные средства, устроить свой собственный театр. Хотя он не построил для него особого здания и представления происходили в квартире, занимаемой его семьей, хотя все было устроено так просто, как теперь редко устраивают в домашних спектаклях, а артистами являлись прежде всего собственные дети и крепостные, но все же этот театр в конце концов помог окончательному разорению моего отца.

Театральная обстановка и доспехи наших доморощенных артистов (из одиннадцати человек крепостных, исключительно предназначенных для театра, шесть человек были актерами, а пять – музыкантами) оказывались крайне незамысловатыми. Короны были склеены из золоченой бумаги и украшены фольгою и цветными бусами; шпаги, латы, сабли и т. п. сделаны из папки и дерева, раскрашены или обклеены разноцветной бумагой; туалеты артисток смастерены из самой дешевой материи с бумажными блестками, – одним словом, все было приготовлено домашним способом, руками моих сестер и горничных.

Если бы кто-нибудь теперь взглянул на все эти театральные принадлежности, то наверно бы подумал, что таким театром могли забавляться лишь дети в небогатой семье, никто бы не поверил, что образованный, серьезный человек мог отдавать ему все свои силы, душевные и материальные. Конечно, причиною полного разорения моей семьи был не только театр, а вообще беспечность отца, который жил на более широкую ногу, чем позволяли ему его скромные средства, но сильно помогали этому и наши театральные представления. Особенно обременительны были приемы гостей, съезжавшихся на них иногда издалека, и не только с членами своей семьи, но и со своими гувернантками, горничными и лакеями, – всех их приходилось угощать ужинами, а некоторых содержать с лошадьми и челядью в продолжение нескольких дней. И то еще хорошо, что не все оставались гостить: театральные представления были устроены в уездном городе (где тогда жили мои родители), и на них являлись не только городские знакомые, но и знакомые семьи, живущие в своих деревенских поместьях. Гости, приехавшие издалека, за верст тридцать – сорок, не могли пуститься ночью в обратный путь при тогдашних ужасающих дорогах. Да и чего им было торопиться? Спешной, обязательной работы у помещиков не бывало. Раз приехали из своего захолустья, нужно воспользоваться случаем! На другой день после спектакля одни из гостей садились за карты, другие предпринимали увеселительное катанье куда-нибудь за город или отправлялись на охоту за несколько верст, а вечером молодежь устраивала танцы, игры, пение.

Несмотря на то что моя мать после смерти своего мужа осталась в крайне тяжелом материальном положении, она свято чтила его память и вспоминала о нем не иначе, как с трогательным благоговением.

Когда кто-то из близких однажды при нас, уже взрослых ее детях, выразил ей свое удивление, как она при большой семье могла допускать жизнь не по средствам, вот как она оправдывала себя и мужа, вот что рассказывала она по этому поводу нам, своим детям:

«После нашего брака Николай Григорьевич точно обозначил роли в хозяйстве каждого из нас: я должна была заботиться о детях, заведовать домашним хозяйством, скотным двором, прислугою, а в его распоряжения относительно крепостных и сельского хозяйства я не имела права вмешиваться. Я была очень молода, доверяла ему во всем, думала, что он лучше меня знает, как это должно быть, а потому и не обращала внимания на остальное. Конечно, с годами я все более сознавала, что при нашей громадной семье следовало бы жить поскромнее, не вводить у себя таких затей, как театр… Но ведь муж устроил его не для своей забавы, а для пользы детей. Ему самому ничего не нужно было: ему хотелось только, чтобы его дети, как пчелы, жужжали вокруг него, чтобы их интересы были чище и выше интересов окружающей среды. Подумайте только, что мы видели в то время кругом! Бесшабаш-

ный разгул, грязь, разврат, взяточничество, истязания крестьян, отчаянный картеж!.. Совсем другое было у нас. Бывало, муж только что прибежит из должности, сейчас начинает учить детей или устраивает репетицию, а то сидит и переводит Мольера для своего театра, много переводил с польского, ставил пьесы Фонвизина и Грибоедова. Многие помещики нашего уезда впервые из представлений нашего театра познакомились с произведениями русских писателей, даже с комедиею „Горе от ума“.

Никогда, ни в одной семье не встречала я человека, который бы так страстно любил своих детей, как ваш отец: он всю свою жизнь готов был отдать на то, чтобы сделать вас людьми более просвещенными и гуманными. Он то и дело открывал какие-нибудь способности то у одного, то у другого из вас и находил, что нет больше преступления, как зарыть в землю талант, не постараться развить его. Узнает, бывало, что кто-нибудь из знакомых хорошо рисует, и попросит его обучать дочь или сына, да при этом зорко следит за тем, делает ли ребенок успехи. Вторая дочурка наша, покойница Манюня, любила в саду копаться. Он приискал ей хорошего садовника, который ее садоводству обучил. И какие она стала разводить георгины, шток-розы, гиацинты, научилась прививать фруктовые деревья, сажать и сеять всевозможные цветы, ухаживать за ними! На вечеринке увидит барышню, которая хорошо протанцует характерный танец, он сейчас же подсядет к ней и попросит ее обучить этому танцу ту или другую из своих дочерей.

Во время наших театральных спектаклей в антрактах (ведь он сам всему учил актеров и всем распоряжался) муж выйдет к публике, посадит к себе на плечи Петюню (забавный был мальчишечка) и заставит его говорить с жестами какое-нибудь стихотворение или басенку. А после окончания спектакля дочери должны были протанцевать качучу или выйти к публике в русских нарядах. Вот и явятся они, мои доченьки, в сарафанах, кокошниках или в девичьих повязках со множеством разноцветных лент, падающих на спину вместе с косой, с нитками разноцветных бус на шее, и отхватывают весело-превесело русскую с своими братьями, которые тоже одеты в кумачовые рубахи и черные плисовые штаны. А после разудалой русской пляски муж прикажет оркестру играть „По улице мостовой“, и старшие дочки наши, помахивая белыми платочками, плывут, как лебедушки…

– Счастливые, счастливые! – криком кричат посторонние барышни моим дочерям. – Как вам хорошо, весело живется при таком отце!

Но эти представления вызывали и зависть: завидовали тому, что к нам все стремились, что у нас было так весело, как нигде. Иная барыня, бывало, вся исстрадается, что ни я, ни мои дочери не обращаем внимания на пересуды, и уж как-нибудь ввернет мне: „А как вас Анна Павловна осуждает за ваш театр! Говорит, что при таком небольшом имении, какое у вас, это должно быть крайне разорительно!..“ А я, бывало, сейчас и перебью ее просьбою передать этой самой Анне Павловне, что я больше ее на свои спектакли не позову. И как этого боялись! После нескольких сплетней, переданных мне, уже никто ни гугу… Сама знала я, что эта затея не по нашему карману, но настоять на том, чтобы муж уничтожил ее, не могла… Как сравню, бывало, свою семью с другими, подумаю, какая у меня семейная жизнь и какая у других, какие разговоры ведут мои дети и какие у них интересы, – и скажу себе: нет, трогать нельзя, а то, пожалуй, изломаешь и все хорошее.

Особенно укреплялась я в этой мысли потому, что видела любовь детей к отцу… Бывало, кто-нибудь из моих девочек во время вечера отойдет в сторонку и надует губы… „Чего еще тебе не хватает?“ – спрошу ее. „Мамашечка, попросите папеньку, чтобы он со мной потанцевал, а то он со всеми уже по два раза, прошелся, а со мной только раз“. Им ничего не нужно было, только бы отец был с ними, и Николай Григорьевич без них нигде не бывал, никуда не ходил… Что же, думаю, бывало, если, по холодности характера, я сама не могу внушить детям горячей любви, пусть любят отца, – он более меня достоин этого…»

Если отец не был на службе, он занимался с детьми или поднимал с ними возню, которою сам увлекался, как ребенок. Матушка, выведенная из терпения шумом и визгом, выскакивала тогда из своей комнаты, где она занималась счетами или хозяйственными распоряжениями, и расталкивала в разные стороны детей и расшалившегося мужа. Чтобы задобрить ее, отец целовал ее ручки или хватал ее за талию и начинал бешено вальсировать. И матушка моментально смягчалась.

Отец с матушкой, несмотря на диаметрально противоположные вкусы, характеры и умственное развитие, относились друг к другу с полным уважением, доверием и любовью… Но это не исключало маленьких домашних сцен и ссор, происходивших в большинстве случаев из-за воспитания детей. Матушка и серьезно, и в шутку укоряла отца за баловство детей, за то, что он не умеет соблюдать с ними отцовского авторитета, а отцу не нравилась ее холодность в обращении с ними. Матушка оправдывалась тем, что женщина, которая, как она, носит каждый год ребенка под сердцем, не может быть страстною матерью.

Однако из слышанного об отце я не все находила прекрасным в его системе воспитания. Будучи для своего времени человеком передовым и сознавая весь вред предрассудков, господствовавших тогда в русском обществе, он всеми силами старался искоренять их в своих детях. Он строго запрещал стращать их мертвецами, оборотнями, вообще говорить им что бы то ни было несообразное с здравым смыслом. К числу предрассудков он относил боязнь темной комнаты и грома, – страх перед тем и другим он старался уничтожать несвойственными его мягкой натуре суровыми мерами, от которых сам страдал и которые иной раз приносили его детям не менее вреда, чем самые предрассудки. Одна из моих сестер, десяти – одиннадцатилетняя девочка, особенно болезненно относилась к грому и грозе. Когда небо заволакивалось свинцовыми тучами, она бросалась в постель и накидывала на голову что попадало под руку. Но отец насильно тянул ее на двор: девочка билась у него в руках, кричала, плакала… У отца при этом текли слезы из глаз, он нежно укутывал ее в платок, но крепко держал и оставлял под открытым небом. Однажды он вытащил ее во время сильной грозы. Сестра умоляла пустить ее в комнаты, кричала, тряслась, вдруг упала на землю, и с ней сделался припадок, вроде падучей. Отец был в отчаянии, но в первый же раз, когда снова разразилась гроза, опять начал уговаривать ее и тащить с собой, пока этой педагогической мере не положила конец матушка. Ее здравый смысл восторжествовал: она вырвала у мужа трепещущую девочку и резко накричала, что она ни за что более не позволит ему сводить с ума детей.

Мой отец старался и в своей жене развить любовь к серьезному чтению и ко всему польскому. Хотя матушка за множеством домашних обязанностей не часто Располагала свободным временем, но, она все-таки выучилась этому языку, что давало возможность отцу читать ей вслух польские книги. Мало того, он сам учил старших детей по-польски и разговаривал с ними не иначе, как на этом языке. Но как только умер отец, все в доме стали говорить исключительно по-русски. Мои братья и сестры, не имея практики в польском языке, начали постепенно его забывать; я же, оставшись после смерти отца маленьким ребенком, когда у нас воцарился исключительно русский язык, не запомнила от раннего детства ни одного польского слова.

После брака мои родители лишь несколько лет прожили в деревне, в своем имении Погорелом, а затем переселились в Щоречье), уездный город С‹молен›ской губернии, переезжая в деревню только на летнее время. Итак, моя семья большую часть года проводила в городе для того, как говорил матери покойный отец, «чтобы не погрязнуть в захолустных дебрях, среди людей звериного образа».

Но едва ли такой жалкий уездный городишко, как П‹оречье›, был в то время более приспособлен для жизни культурного человека, чем наше захолустное поместье. Судя по некоторым фактам, я думаю, что к переселению в город отца побудило прежде всего желание

увеличить средства своей многочисленной семьи, – он получил в нем место уездного судьи, – а затем желание устроить собственный театр, что, конечно, удобнее было осуществить в городе, чем в деревне. Окончательному решению переселиться в город содействовало более всего то, что моему отцу неожиданно представился случай купить в городе П‹оречье› большой деревянный дом со службами, надлежащими пристройками и хорошим садом чуть не задаром, а именно за 900 рублей ассигнациями.

Семья наша увеличивалась с каждым годом. Довольно сказать, что матушка, прожив с отцом 20 лет (от 1828 до 1848 года) имела, по ее *собственному счету,* 16 человек детей. Я указываю на ее *собственный счет* потому, что он не согласовался со счетом соседей. У матушки была какая-то болезненная ненависть к точному определению количества своих детей. Однажды она сказала при соседке-помещице что-то в таком роде: «Когда у женщины было так много детей, как у меня…» Собеседница перебила ее словами: «Да, порядочная была у вас семья! Вы-то считаете, что у вас было шестнадцать деток, а все кругом говорят, что их у вас было девятнадцать: вы ни выкидышечков, ни мертворожденненьких в счет не берете…»

Матушка, крайне вспыльчивая по натуре, вышла из себя при этих словах и наговорила больших резкостей соседке, которая не переставала подзадоривать ее словами: «Чего же стыдиться этого? Ведь это же благодать божья! К тому же у вас, уж по совести можно сказать, они не от заезжих молодцов, как у многих других, а от богом данного законного супруга».

Однако, если остановиться и на матушкиной статистике, то есть на том, что у нее было шестнадцать человек детей, то в 1848 году, то есть перед холерою, их оставалось уже двенадцать, так как четверо из них умерли еще до этого злосчастного года: двое из умерших были моложе меня, так что я перед смертью отца была самою младшею в семье.

В жизни моего семейства няня играла выдающуюся роль. Мы, дети, были крепко привязаны к ней, а я и моя сестра Саша любили ее даже больше матери. Вот потому-то я и считаю необходимым объяснить, как она у нас появилась. Все служащие у нас люди были нашими крепостными, кроме няни, которая была из мещанского сословия, следовательно, могла свободно располагать собою. Но в то время, как у низшего, так и у высшего класса русского общества понятия были чисто крепостнические, рабские. Няня до глубины души оскорблялась каждый раз, когда кто-нибудь из домашних напоминал ей о том, что она человек свободный. Она считала себя настоящей рабой моих родителей и членов нашего семейства.

– Нянюшечка, – кричал иногда кто-нибудь из моих братьев, чтобы посердить ее. – Ты не наша крепостная! Если ты убежишь от нас, становой не будет тебя разыскивать…

– Что я тебе сделала, Заринька (Захар)? – отвечала она с горечью. – Чем не угодила, что ты меня так обижаешь?

Но тут со всех сторон поднимались возмущенные голоса детей:

– Зарька! как ты смеешь обижать няню! – И все мы, как по мановению волшебного жезла, бросались к ней со словами: – Няня наша, наша собственная! Она не смеет уйти от нас!

– Конечно, не смею! – отвечала она, уже совершенно успокоенная.

Вот как эта совершенно свободная женщина сделалась нашею, по ее мнению, неотъемлемою собственностью. Родители няни были зажиточными мещанами. Ее отец держал постоялый двор, и вся его семья, состоявшая из жены и дочери Маши (впоследствии нашей няни), должна была работать не покладая рук. Он был человек крутого нрава и за ничтожную оплошность жестоко расправлялся с женою и дочерью.

Маша и в детстве не отличалась крепким здоровьем, а когда мать ее внезапно умерла, это так потрясло девочку, которой в то время было четырнадцать лет, что она захворала после похорон, а когда встала с постели, очень долго не могла оправиться. Отец ее нанял на время

работницу, но скоро объявил дочери, что ей уже время работать, а так как она взрослая, то обязана все делать сама. Но Маша плохо справлялась с хозяйством, за что тяжелая рука отца обрушивалась на нее с такою силою, что нередко оставляла кровавый след. Так прожила она с полгода после смерти матери, как вдруг узнала, что отец ее собирается жениться во второй раз, да еще на сварливой бабе. Тогда Маша решила, что положение ее в доме при мачехе еще ухудшится, и задумала бежать раньше, чем отец женится. Случай помог этому.

Как-то весной она вышла из дому и села на завалинку. Мимо нее прошли нищие и недалеко от ее дома сделали привал. Их пение и рассказы так прельстили девочку, что она открыла свою тайну одной из нищенок, которая и пригласила ее странствовать вместе с ними, питаться подаянием, «прославляя имя господне и вымаливая у всевышнего прощение людям их грехов». И девочка сделалась нищенкою.

Но бродячая жизнь в холод и непогоду, ночевки на сырой земле под открытым небом очень скоро подорвали, ее здоровье. К ее все большему недомоганию и жестоким лишениям, которые ей пришлось выносить, присоединилось еще отвращение к нищим, с которыми столкнула ее судьба. Приближаясь к деревне, они обыкновенно ловко загоняли в сторонку кур с цыплятами и уток и сворачивали им головы, вытаскивали узелок у спящего на дороге человека, вообще оказывались опасными товарищами.

До города Владимира, куда нищие направлялись, оставалось уже несколько верст, когда они заметили деревенскую избу, а на изгороди, в некотором расстоянии от нее, развешенное белье. Старшой нищих решил тут сделать привал, а Маше приказал осторожно стащить все с изгороди. Девочка стала умолять его не давать ей этого поручения. Нищий уже поднял свою клюку, чтобы ее ударить, как вдруг издали раздался стук колес и звон колокольчика, и он успел только толкнуть ее изо всей силы и грозно закричал ей, что он убьет ее, если она попадется ему на дороге.

Долго пришлось Маше бродить по городу, не получая подаяния. Мой отец, который по своим делам находился в это время во Владимире, случайно натолкнулся на девочку, упавшую без чувств от голода, утомления и слабости, и свез ее в больницу; когда она пришла в сознание, он узнал от нее всю ее историю, затем зашел ее навестить и, когда она оправилась, дал ей денег и отправил с письмом к своему знакомому, управлявшему поблизости фабрикою. Но прежде чем расстаться с девочкою, мой отец дал ей адрес своего поместья и сказал ей, что, если она через год-другой забредет туда, он непременно устроит ее.

Плохое здоровье Маши не дало ей возможности долго прожить на фабрике. Поработав несколько месяцев, она отправилась искать места, но, прежде чем найти его, ей долго пришлось перебиваться поденной работой, то и дело впадая в жестокую нищету. Наконец она нашла место няни во Владимире, в доме богатого купца Сидорова, где ее полюбили не только дети и хозяйка, но и жестокосердый хозяин, у которого до нее никто не уживался. Она прожила у них более пяти лет, могла бы прожить и всю жизнь, так как Сидоровы ни за что не хотели расстаться с нею. Но из благодарности за участие, которое выказал ей мой отец, Маша решила, что она обязана всю свою жизнь, все свои силы отдать на служение ему. И это стремление во что бы то ни стало отыскать моего отца никогда не покидало ее. Если она не явилась к нему раньше, то только потому, что ей не с чем было двинуться в дальний путь. Прежде чем окончательно уйти от Сидоровых, она объявила им, что желает оставить их, но те всячески задерживали ее.

Вот как она передавала это нам сама: «Вы, детушки, часто спрашиваете, отчего я такая дряхлая да старая, а мамашечка ваша одних со мною лет, а выглядит куда моложе меня… А от того, сердечные мои, что жизнь моя, почитай, с самых ребячьих лет больно тяжкая была. А как я убежала из родительского дома, так у меня сразу и вся молодость пропала!.. Проживу год – точно десять лет прошло, из лица на десять лет постарею… От горького ли одиночества, от жизни ли моей скитальческой, только все, что людей в молодости радует, у меня

точно огнем выжгло: ни о нарядах я не помышляла, ни о женихах на уме у меня не было… Втемяшилась в меня одна думка: к благодетелю моему – к вашему батюшке добраться, в ноги ему броситься, послужить ему за доброту его ко мне, что меня, злосчастную, из грязи вытянул. И ничего другого в голове у меня не было. Как только моим господам, купцам Сидоровым, надоело меня улещать еще маленько пожить у них, так я скорехонько уж и у вас объявилась. Мамашеньке-то вашей я ровесницей пришлась: ей было тогда, как и мне, двадцать три года. Сколько лет с тех пор прошло, а я и в ту пору немногим моложе выглядела: старая-престарая, точно чернослива сморщенная, а мамашенька-то ваша что маков цвет цвела: белая, румяная, полная, на вид еще моложе своих лет. У нее уже пятеро деток было, да все крошки-погодки, – вот я и стала их нянчить. Так с тех пор и живу у вас, даст бог, у вас и кости сложу».

Всю любовь, всю преданность своего доброго сердца няня отдала нашей семье. У нее не было своей жизни: ее радость и горе были исключительно связаны с нашею жизнью. За то только, что отец когда-то свез ее в больницу, навестил ее во время болезни, дал несколько рублей на то, чтобы она могла переменить нищенские лохмотья на обычную деревенскую одежду, душа этой молоденькой девушки преисполнилась к нему безграничною благодарностью, благоговением, доходившим до поклонения. Она дала слово богу отдать свою жизнь на служение моему отцу и его близким и, несмотря на все превратности судьбы, сдержала свое слово. Детей своего «благодетеля», как называла она отца, она любила, как может, только любить нежно любящая мать. Несмотря на бесконечную массу дела в доме, она не только с утра до ночи зорко следила. за нами, но и по нескольку раз ночью подходила к каждому из нас, закрывала того, кто разметался на постели, внимательно осматривала, крестила. Во время еды она тщательно наблюдала за наиболее болтливыми, чтобы они не остались голодными. Она совсем отбивалась от еды и сна, когда заболевал кто-нибудь из нас, но если больной начинал поправляться, она, еще изнуренная уходом и бессонными ночами, от радости не знала, что делать: показывала выздоравливающему всякие фокусы, рассказывала сказки и приключения из своей жизни, пела, даже плясала.

Мать считала няню своею главною помощницею и всегда говорила, что без нее она ни за что не могла бы справиться со своею огромною семьею и со своим сложным хозяйством. Что же касается того времени, когда она осталась одна после смерти мужа, она признавалась, что без няни совсем бы пропала. Мои братья и сестры, поступавшие в учебные заведения, обыкновенно писали ей письма, которые были для нее предметом восторга, ее гордостью и величайшим счастьем. Она, как святыню, бережно складывала их в шкатулку и в свободное время перечитывала их, но чаще поручала это нам. Хотя она умела читать (для ведения дел на постоялом дворе, который держал ее отец, требовалась грамотность, что и заставило отца обучить ее читать и кое-как писать; еще более получилась она от своих питомцев), но она любила наслаждаться чтением писем в обществе детей, оставшихся дома. Читает ей, бывало, сестра то одно, то другое письмо, чуть не в сотый раз, она набожно крестится, при нежных же эпитетах, вроде следующих: «дорогая, золотая, бриллиантовая, любимая нянюшечка» и т. п. проливает потоки слез. При этом она обыкновенно приговаривала: «Ах, голубчик мой дорогой, да разве я это заслужила?»

Для нас, детей, она положительно была ангелом-хранителем, и мы все обожали ее. Матушка была с нами скорее сурова, чем нежна, няня же обращалась с нами удивительно ласково, употребляя все усилия, чтобы предупреждать вспышки матушкиного гнева. Но в те крепостнические времена ни одно чувство не выражалось по-человечески: господа и рабы, свободные и крепостные выражали свои чувства по-холопски, вытравляя и в детях все зародыши истинно честных и свободных инстинктов.

– Нянюшечка, – и при этих словах моя сестра Саша так трясет за рукав няню, что ее вязальные спицы разлетаются в стороны. – Слушай, нянюшечка, я тебе на ушко секрет скажу…

– Ах ты шалунья! Видишь, все спицы на полу! – И няня нагибается их поднять, но сестра предупреждает ее. – Петлю-то в чулке подними, – говорит ей няня наставительно и строго, не давая ей нагибаться за вязальными спицами, – а по полу ерзать не твое дело. Ты – барышня и так себя понимать должна, – значит, для холопки своей не смеешь спину гнуть! Вот если бы я очень больна была, с постели не могла подняться, ну, тогда другое дело, ты бы, значит, милосердие свое оказала. А делать это без надобности для тебя должно быть довольно стыдно!.. Ну, теперь, Шурочка, говори свой секрет.

– Нянюша! Очень моя славная, дорогая, любимая!.. Я тебя люблю больше всех, всех, всех!.. Даже больше мамашеньки!

– Никогда не смей этого говорить, Шурочка, – ни при мамашеньке, ни без нее, – сердито выговаривает она сестре. – Разве можно кого-нибудь любить больше матушки родимой? Грех это, деточка, ух какой грех!

– Грех, говоришь? А что же мне делать, нянюша, если я тебя люблю больше мамашеньки? Отчего же это грех?

– Ну, Шурочка, ты не малолетка!.. Могла бы уж понимать, что родную матушку бог велит больше всех любить! Да опять же ты настоящего дворянского рода, а я твоя раба, – как же ты можешь меня к матушке приравнивать?… Большой грех, дитятко, так говорить!

– Но если это такой грех, как ты говоришь, так скажи же, нянечка, должна я это на исповеди сказать? – допытывалась сестра совершенно серьезно.

Няня в первую минуту, видимо, растерялась, но тотчас же нашлась.

– Какие ты пустяки, Шурочка, спрашиваешь! Ведь этого нет, и ты этого вовсе не думаешь! Это только сейчас и в головенку-то твою взбрело! Пустяки это все, и незачем этого батюшке на духу сказывать! Нечего его глупостями утруждать! И как это у тебя язык поворачивается так про матушку говорить? Ведь она день-деньской как рыба об лед бьется! Подумай сама, сколько вас-то всех! Она вас и обшивает, она и по хозяйству, она вас и наукам обучает, – где ж ей время взять, чтоб еще с вами забавляться? Мамашенька-то у нас первая голова во всей округе, чай, не пристало ей с вами телелёшиться, сказки сказывать да глупости всякие нести, как я!

Наиболее яркое впечатление из моего отдаленного детства во время нашей городской жизни оставили дни доставки провизии из деревни.

– Возы, возы приехали! – вдруг раздавался крик братьев и сестер.

При этих криках мы, детишки, стремглав бросались к окнам, и нам было видно, что узенькая уличка, на которой стоял наш дом, вся запружена нашими деревенскими возами. Если была мало-мальски сносная погода, мы второпях надевали наши пальтишки, гурьбой высыпали на улицу и начинали шмыгать между возами, выхватывая узелки и ящики поменьше, чтобы вносить их в дом. Для нас, малышей, это была одна из счастливейших минут жизни, но далеко не без шипов, и требовала от нас большой выдержки и силы воли. Если во время этой суматохи мы как-нибудь неловко подвертывались под руку старшим или, боже упаси, роняли какой-нибудь горшок, нас бесцеремонно толкали и колотили чем попало, и не только матушка, но даже горничные и лакеи считали эту минуту самою удобною, чтобы сводить с нами различные счеты. Иная горничная и не решалась дернуть или толкнуть, но умела отомстить еще чувствительнее: ей стоило только закричать так, чтобы услышала матушка.

– Да что вы, барышня, так кидаетесь? Чуть с ног не сшибли! Банку бы с вареньем выронила! – И этого было достаточно: матушка, как ястреб, бросалась на оговоренную и за руку, а то и за уши тащила несчастную в дом, вталкивала в первую попавшуюся комнату

и замыкала на ключ. То же самое было с тою из моих сестер, которая, не стерпев обиды, вскрикивала от толчка горничной или лакея: не разбирая, в чем дело, матушка наказывала ее, как и предыдущую. Такие разговоры горничных и лакеев во время суматохи всегда оставались нерасследованными, потому что доставка провизии вносила много работы на несколько дней для всех служащих, и матушка не имела времени думать о чем бы то ни было, кроме как о приведении в порядок своего деревенского добра. Для детей же просидеть взаперти в отдельной комнате в столь оживленное и любимое время было величайшим несчастьем, и каждый из нас готов был проглотить всякие обиды, лишь бы не быть исключенным из всеобщей суматохи. Но этим наказаниям мы подвергались редко: наш ангел-хранитель, няня, зная настроение матушки в такое время, выбегала вместе с нами на улицу, если только это было для нее возможно, и, как наседка относительно своих цыплят, зорко наблюдала, чтобы вовремя охранить нас от толчков и пинков старших и чтобы не дать нам что-нибудь уронить. Но тот, кто во время этой суматохи ускользал от ее бдительного надзора и получал трепку от матушки, молча утирал слезы, боясь проронить хотя один звук.

Шумно и торжественно вносили крестьяне в дом кадки, бочки и бочонки с квашеной капустой, с солониной, маслом, творогом, сметаной, с замороженными сливками. Наконец все расставлено на полу во всех комнатах, которые принимают вид беспорядочного базара самой разнообразной снеди. Выходные двери закрывают, и начинается распаковка: ящики взламывают, узлы и мешки развязывают, рогожи разрезают и оттуда извлекают банки с вареньем, горшки с маринадами, мочеными яблоками, соленою рыбою, с медовыми сотами, с солеными и маринованными грибами и огурцами, вытаскивают мороженых кур, поросят, индеек, гусей и всякую дичину. Затем постепенно начинают все это сортировать, что относят в погреб, что в кладовушки и боковушки, вспарывают мешки с орехами, с сушеною малиною, земляникою, с яблоками и всякою всячиной. При этом всех нас щедро оделяют деревенскими гостинцами, – и мы целый день грызем, сосем, жуем – одним словом, наслаждаемся.

Если бы наша семья не могла получать из деревни провизии, холста и кож, если бы крепостные не обшивали нас с головы до ног, если бы мы не жили в деревне по нескольку месяцев в году, мы не могли бы существовать, а тем более жить на барскую ногу, как это было при отце.

Мои личные воспоминания делаются несколько более отчетливыми и рельефными с 1848 года, но и тут, вероятно, я могла бы вспомнить лишь некоторые факты нашей семейной жизни, да и то без всякой логической связи. Но различные события этого невыразимо злосчастного года, который таким роковым образом отозвался на нашей судьбе, так часто и с такими подробностями вспоминали близкие мне люди – мать, братья, сестры, няня и наша прислуга, – что я уже и сама не знаю, что из происшедшего за это время я запомнила по личным наблюдениям, что узнала от других.

Раннею весною 1848 года мы часто стали слышать, как взрослые разговаривали о том, что у нас на Руси много народа умирает от холеры. Вследствие этого мои родители решили переехать в деревню раньше обыкновенного. Но вышло наоборот: какие-то дела задержали их, и мы в первый раз встретили пасху в городе. Вдруг в конце страстной недели разнеслась весть о том, что холера появилась и в нашем городе. Решено было собраться в деревню после первых дней пасхи. Между тем как раз в это время прислуга то и дело вбегала в столовую и сообщала, что в том или другом доме кто-нибудь заболел или умер. Но нас, детей, это нисколько не заботило: мы были поглощены куличами, пасхами, но более всего разноцветными яйцами, которые мы весело катали по полу, примостив в уголок или к стене свои лубки. На третий день пасхи стояла теплая прекрасная погода: выбежав с утра веселою гурьбой на крыльцо, мы увидали незнакомую нам девочку лет трех-четырех, одетую, как одевались тогда дети среднего помещичьего достатка. Незнакомка, нисколько не стесняясь тем,

что находилась в чужом доме, спокойно возила по крыльцу нашу игрушечную тележку. Мы сейчас же подбежали к ней, спрашивали, как ее зовут, откуда и зачем она пришла к нам. Она ответила, что ее зовут Лелею, но на дальнейшие вопросы не обращала ни малейшего внимания, выхватывая из наших рук лубки и яйца и бросая все в тележку. Мы, вероятно, тоже нашли дальнейшие вопросы излишними и стали помогать ей тащить нагруженный воз, затем все вместе побежали в сад, где мы с нею бегали, играли и катали яйца, как со старой знакомой. Когда нас позвали к обеду, родители наши очень удивились появлению незнакомого ребенка, а когда отец, схватив ее на руки, просил ее показать, откуда она пришла, она неопределенным жестом махнула куда-то рукой и нетерпеливо закричала: «Есть хочу, скорее есть». После обеда няня взяла девочку за руку, чтобы вместе с нею прогуляться и, может быть, таким образом узнать, откуда она, но Леля стала плакать и кричать, вырвалась из ее рук и побежала с нами в сад. Тогда матушка отправила горничную справиться по соседним домам, не ищет ли кто своего пропавшего ребенка. Но поиски оказались напрасными, и Леля осталась у нас ночевать. На другой день отец с утра отправился в город за теми же сведениями, но, возвратившись домой, высказал только предположение, что девочка, должно быть, прибежала из противоположного конца города, из одного дома, стоявшего несколько в стороне от города, так с версту от него, и в котором в несколько дней вымерла вся семья. Он говорил, что дошел до этого дома, но двери его и двор оказались заколоченными; полиция обещала ему немедленно навести справки и доставить необходимые сведения. При этом отец подтвердил, что в городе за последние дни заболевает и умирает очень много народу.

Леля играла с нами и во второй день, и мы вместе с нею отправились спать в детскую, где с маленькими детьми спала и наша няня. Вдруг, уже под утро, проснулась Саша и с криком стала звать няню, которая не откликалась. Этим криком она разбудила нас всех; когда она зажгла свечу, мы увидели, что кровать няни не была даже смята. В то же время мы услыхали какой-то шум, беготню и суету в доме. Тогда Саша открыла дверь и громко стала звать няню, которая тотчас вбежала к нам. Но, боже мой, какой у нее был ужасный вид! Руки тряслись, из глаз текли слезы, она растерянно смотрела на нас, но ничего не говорила. Мы вскочили с кроваток и бросились ее обнимать.

– Нянюшечка, что с тобой, отчего ты плачешь?

– Папашенька захворал, папашенька… – говорила она, рыдая и отчаянно ломая руки. – Молитесь богу, чтоб он вас пожалел, не оставил сиротами. – И мы вместе с нею в одних рубашонках бросились на колени и, ошеломленные внезапною новостью, повторяли за нею то, что она произносила, рыдая: «Боже, пожалей нас, боже, не оставь нас сиротами!»

В эту минуту в коридоре раздался голос матери, которая звала няню.

– Ложитесь в кроватки и лежите смирно. – И с этими словами няня выбежала из комнаты. Но Леля сейчас же привстала и, закрыв ручонками лицо, начала плакать все сильнее и громче с каждой минутой. Как мы ни уговаривали ее, как ни утешали, как ни расспрашивали, о чем она плачет, она ничего не отвечала, но продолжала рыдать и вздрагивать всем телом. Ее рыдания перешли в крики, раздирающие душу. Тут вбежала моя старшая сестра, взрослая молодая девушка, которая тоже не раздевалась в эту ночь, схватила на руки ребенка, помочила ей голову холодной водой, дала ей напиться и стала носить ее на руках по комнате. Может быть, сообщение о болезни дало толчок для пробуждения грустных воспоминаний и в ее детском мозгу, и она, вероятно, только при этом вспомнила, что не видит своих родителей, – но она ничего не говорила. Когда же сестра положила ее в постель и, гладя по головке, несколько минут посидела у ее кровати, она быстро заснула. Мы же спать не могли: как только рассвело, сестра приказала нам вставать и как можно тише сидеть в комнате, противоположной той, в которой находился больной отец. Через некоторое время сестра ввела к нам Лелю: она была очень весела, и ее тяжелое настроение после сна совсем рассеялось. Да

и все мы, малыши, быстро забыли о том, что у нас делалось в доме: мы скоро так расшумелись и развозились, что к нам вбежала старшая сестра и резко стала бранить нас.

Положение отца быстро ухудшалось: доктор приходил через каждые два-три часа. Когда няня внесла нам обед, она была так измучена, что не могла даже раскладывать кушаний по тарелкам, присела на стул и попросила кого-то из сестер сделать это за нее. Несколько успокоившись, она сказала, что отцу теперь гораздо легче и что он крепко заснул. Заснула и матушка, так как в предыдущую ночь никто из старших не раздевался.

Мы, дети, на этот раз легли спать очень рано. Чуть стало светать, как Саша опять вскочила с кровати и стала громко кричать: «Вставайте, вставайте!» Мы быстро приподнялись с постелей и стали спрашивать у нее, зачем она нас разбудила. «Тише… Тише… Слушайте!..» – зашикала она на нас. Мы стали прислушиваться и были поражены еще более ужасным шумом и переполохом, чем в предыдущую ночь: дверями комнат хлопали то и дело, в коридоре шла ужасающая беготня, что-то беспрерывно вносили и выносили, громко звали по имени то одного, то другого из служащих; с противоположного конца дома доносились крики, рыдания… Но вот на минуту все стихло, затем послышался топот многих людей сразу, точно вносивших что-то громоздкое. Когда шум несколько стих, Саша сказала нам, что она потихоньку посмотрит, что все это значит.

– Я ни за что не останусь без тебя! – кричали мы на все лады, вскочили с кроватей и кинулись к ней в полутемноте. Толкая друг друга, падая и вновь вставая, мы наконец поприцепились, кто за Сашину рубашку, кто за ее руку, и, босые, в одних рубашках, выбежали в коридор. Дверь залы была закрыта, но снизу из-под нее блестела полоска света. Саша распахнула дверь настежь, мы вошли и остолбенели. Посреди комнаты, на столе, уже одетый, лежал усопший отец, окруженный зажженными восковыми свечами. Кто-то из нас пронзительно вскрикнул, а за ним и все остальные.

Трудно поверить, что уже более полустолетия прошло с тех пор, а эта сцена так врезалась в моей памяти, что стоит перед моими глазами, точно это было несколько дней тому назад! Мы, босые, в одних рубашонках, сбились в кучу около сестры Саши, кричим, рыдаем. В ту же минуту к нам вбежала няня и, увидав нас, всплеснула руками; стараясь захватить всех нас в свои распростертые объятия, она стала рыдать вместе с нами, причитая: «Несчастные вы мои… Сиротки… Горемычные вы крошки! Молитесь богу!..» И, падая на колени, она увлекла и нас за собою. «Ах ты, господи, да ведь вы в рубашонках, босые!.. Идите к себе, идите скорее!..» – спохватилась она и повела нас к двери.

Возвращусь немного назад и расскажу о последних минутах жизни отца. Когда на другой день после начала болезни у него снова появилась рвота со всеми другими признаками холеры, что непрерывно продолжалось несколько часов сряду и с ужасающею силою потрясло весь организм больного, доктор нашел необходимым объявить матери о его крайне опасном положении. Однако после продолжительных приступов болезни наступило успокоение: отец сразу почувствовал себя лучше и пожелал уснуть. До самого вечера он спал крепко и спокойно, как здоровый человек, так что у матери явилась надежда, что доктор ошибся. Отец проснулся часов в десять вечера, объявил, что должен иметь серьезный разговор с матушкою и нянею и что он имеет для этого достаточно силы. Он говорил, что чувствует себя теперь вполне хорошо, и если бы не видел сна, то подумал бы, что болезнь приняла благоприятный оборот. Но он видел сон, предвещающий ему немедленную кончину, следовательно, матушка не должна питать несбыточных надежд на его выздоровление.

Предсмертный разговор отца няня много раз передавала нам и всегда кончала его горькими рыданиями, с гордостью и умалением прибавляя, что он ее благодарил за ее любовь и преданность к нему и его семейству. Затем он просил «не терзать его попами», так как часы его жизни сочтены, и он обязан матушке выяснить ее положение.

Отец был человек в высшей степени деликатный: будучи неверующим, он никому не говорил об этом, кроме матери, и особенно скрывал это от няни, зная ее глубокую религиозность, а потому, вероятно, и в последнюю минуту, не желая призывать к себе священников, объяснил это недостатком времени. Затем он обратился к матушке и стал благодарить ее за счастье, которое она ему дала в продолжение двадцати лет. В эту минуту, по словам няни, матушка стала рыдать и, осыпая его руки поцелуями, умоляла его сказать ей, почему он думает о смерти теперь, когда подкрепился сном, когда прекратились все болезненные явления. Тогда он рассказал ей свой пророческий сон: он, в виде птицы, летал по кладбищам, посетил могилы близких ему людей, а когда опустился на могилу своей матери, оттуда раздался ее голос: «Не успеет петух прокричать трижды, как мы уже свидимся с тобой, мой любимый сын! Приготовь свою жену на горе и лишения, все расскажи ей откровенно и выпроси, у нее прощенье». Тут уже и матушка не могла более сомневаться в том, что ее любимый муж уходит от нее навсегда, и, рыдая, упала перед ним на колени.

Нечего удивляться тому, что виденный отцом сон поколебал последнюю надежду матушки на его выздоровление. Если отец, человек весьма образованный для своего времени, верил в сны, то тем более такая вера понятна в матушке, которая хотя и была женщиною с большим природным умом, но получила лишь институтское воспитание.

Отец, потрясенный отчаянием матушки, долго не мог говорить. Но когда ее раздирающие душу вопли стихли, он наконец изложил то, что считал необходимым, то есть раскрыл перед нею картину ее настоящего материального положения. Оно оказалось крайне плохим и запутанным: несколько отдельных фольварков с наиболее плодородною землею, наилучшие части леса, несколько десятков крестьянских семейств – все пришлось отцу продать, чтобы покрыть долги. Таким образом, состояние наше, которое никогда не было значительным, уменьшилось теперь более чем вдвое. Кроме того, после него оставались долги, матушка должна была уплатить их, – следовательно, ей и впредь предстояло продавать по частям имение, чтобы удовлетворить кредиторов. Отец объяснил, что после этого у матушки останется лишь имение Погорелое – усадьба с семьюстами десятин земли и приблизительно семьдесят – восемьдесят душ крестьян. Он не забыл указать матушке и на то, что тяжелое материальное положение, в котором она очутится, не даст ей возможности нанять опытного управляющего: такому необходимо платить изрядное жалованье, а денег у нее совсем не будет. Следовательно, с этих пор всем хозяйством матушка должна управлять сама с помощью старосты из крестьян. Обращаясь к няне, отец сказал, что он рассчитывает на то, что она будет ангелом-хранителем не только его детей, но и его жены, что она сделается ее первою помощницею. В эту предсмертную минуту отец вполне ясно сознавал, какое тяжкое бремя он оставляет в наследство своей семье, но уверял матушку, что как только она примется за управление поместьем, ее практический ум и деловитость подскажут ей, что делать, и она, наверно, лучше поведет хозяйство, чем он, который растратил детское достояние. Его собственные слова так потрясли его, что он долго не мог говорить и, наконец, обратился к матушке с последнею просьбой: «Дай детям образование, дай даже в том случае, если бы для этого тебе пришлось продать все имущество, а другой мой предсмертный завет – будь милостива к крестьянам, не унижай своего человеческого достоинства до экзекуций и жестоких расправ с ними, никому не позволяй обижать их, – пусть среди них из-за тебя не раздаются стоны и проклятия!»

Чем дальше, тем менее внятно говорил отец, останавливался, повторял сказанное, наконец, помолчав довольно долго, точно прислушиваясь к чему-то, он вдруг приподнял руку и, бледнея, с ужасом прошептал: «Петух, петух кричит!» Няня с матушкою стояли подле кровати, боясь пошевелиться, а когда они наклонились над умирающим, он уже не дышал.

Если бы я писала повесть или роман, я бы остановилась здесь, а не описывала бы других ужасов и несчастий, последовавших за смертью моего отца, так как уже одна эта смерть внесла много горя и лишений в жизнь моей семьи. Чувство меры, такта и художественного чутья помешали бы мне изобразить те жестокие удары судьбы, которые, как из рога изобилия, один за другим без всякой пощады, даже почти без передышки, посыпались на голову моей матери. Но моя задача не повесть писать, а дать правдивое описание жизни моей семьи, а потому я не буду смягчать жестокой действительности.

Еще усопший отец лежал на столе, когда холера уложила в постель двух моих старших сестер, из которых одной было девятнадцать, а другой – восемнадцать лет, и их хоронили одну за другою. Затем в три последующие недели холера унесла еще четырех детей из нашей семьи. Итак, в продолжение месяца с небольшим у нас было семь покойников. Впоследствии многие спрашивали матушку, почему после смерти отца она не уехала тотчас же в свое имение: таким отъездом она, вероятно, прервала бы жестокую холерную эпидемию. На это, конечно, был один ответ: с момента болезни отца во весь последующий период не проходило и недели без похорон и тяжелых больных, которых немыслимо было везти по тряской деревенской дороге.

Очень вероятно, что развитию холеры в нашем доме и тому, что она приняла у нас такой угрожающий характер, помогало то, что за детьми в те времена был вообще весьма плохой уход, а в тот период времени, который я описываю, в нашей семье господствовал такой невыразимый беспорядок, который сделался причиною воровства и еще нового величайшего несчастия для матушки, но о том и другом расскажу несколько ниже.

Старшие члены моей семьи были совершенно поглощены уходом за больными и хлопотами о похоронах, а потому на нас, здоровых детей, никто не обращал ни малейшего внимания. Мы свободно сообщались с заболевавшими, вбегали в их комнаты, входили к покойникам. До чего присмотр за нами был плох, видно уже из того, что Леля, этот вестник смерти в нашей семье, так внезапно появившийся у нас, так же внезапно и навсегда исчезла с нашего горизонта. В последний раз ее видели в момент выноса тела покойного отца, а затем у нас хватились ее только вечером, когда ложились спать. Нужно помнить, что в эту минуту холерою заболели две мои старшие сестры. Вероятно, потому-то и об исчезновении Лели дали знать полиции лишь через несколько дней после того, как это было обнаружено. Какие сведения были получены по этому поводу, – у нас, кажется, об этом никто в доме не справлялся. Тяжкие невзгоды и жестокие сюрпризы, которые судьба преподносила матушке, могут служить оправданием ее индифферентизма к ребенку, так неожиданно посланному ей судьбою и относительно которого она должна была бы быть особенно заботливою.

Кратковременная, но мучительная болезнь то одного, то другого члена нашей семьи, смерть и похороны одного за другим не только ошеломили всех домашних своею неожиданностью, но физически и морально истерзали их. За все эти четыре-пять недель никто в доме не проспал как следует ни одной ночи; матушка и няня еле передвигали ноги от усталости и отчаяния, и все служащие в доме, истомленные хроническими бессонницами, беготнёю с утра до вечера и напряженным уходом за больными, бродили измученные и сонные до невероятности.

До чего матушка была потрясена горем и отчаянием, до чего растеряна и убита, видно из следующего эпизода. Только уже после последних похорон матушка подозвала няню и спросила ее, откуда доставала она деньги на лекарство для больных и на похороны. Она только тут вспомнила, что в ее кармане, еще перед началом болезни мужа, было очень немного денег. Няня сказала ей, что после смерти Николая Григорьевича она пришла к ней просить денег, необходимых, чтобы заказать могилу, купить гроб и пригласить духовных лиц. Матушка вытащила из кармана кошелек с несколькими десятками рублей и, подавая ей, сказала: «Делай, как знаешь, у меня больше решительно ничего нет!» После этого никто

ничего не мог добиться от матушки, которая временами не могла даже хорошенько сообразить, о чем ее спрашивают. Вследствие этого за всеми сведениями и распоряжениями обращались к няне, которая волею-неволею все взяла в свои руки.

Хотя няне удалось упросить поставщиков отпускать нам все в кредит до отъезда в деревню, но оказалось так много расходов, за которые необходимо было платить немедленно, что ей скоро пришлось подумать о займе. Она побежала было просить в долг у кого-то из наших знакомых, но хозяйка дома, заметив в открытое окно ее приближение, закричала ей на всю улицу, чтобы она не смела близко подходить к ней, так как все боятся заразы от членов нашей семьи. «Точно прокаженные какие-то сделались! Даже на базаре сторонятся наших людей!..» – жаловалась няня. Когда она потеряла надежду занять деньги у знакомых, она решила отправиться к священнику и просить его одолжить хотя небольшую сумму, но уверена была в его отказе, так как он и без того обещал ждать платы за свои услуги, пока матушка сама не найдет возможным уплатить ему. Но вдруг на улице она неожиданно столкнулась с сыном купца Сидорова, в доме которого она служила до поступления к нам и нянчила его младших братьев и сестер. Хотя он был тогда еще подростком и с тех пор прошло уже много лет, но они тотчас узнали друг друга. Молодой Сидоров зазвал ее в лавку своей жены. Няня узнала от него, что он женился на дочери одного из наших городских купцов, получил за женою лавку в нашем городе, куда только что и переехал. Жил он пока у родственников жены, но решил купить здесь дом для себя. Ему уже говорили о том, что матушка будет продавать свой дом, он хотел начать переговоры с нею по этому поводу, но, ввиду холеры в нашей семье, его уговорили подождать. Таким образом, прежде даже, чем моей матери могла прийти мысль о продаже собственного дома, обыватели города уже решили за нее, что это будет ею сделано. Няня подтвердила, что, вероятно, это так и будет, но пока просила его ссудить ей небольшую сумму, уверив его, что, если он не сойдется с матушкою в цене, он все-таки сполна получит свои деньги, так как в таком случае на уплату долгов будет продано что-нибудь из имения. За честность матушки ему поручились в лавках, где мы забирали провизию, и он дал денег взаймы, рассчитывая, что матушка из-за этого будет уступчивее при продаже ему дома.

Рассказывая все это, няня не упустила случая, чтобы, по своему обыкновению, не указать на милосердие господа бога, «который все же не оставил нас в такую тяжелую минуту». Но матушка при этом пришла в такое негодование, разразилась таким потоком богохульств и проклятий судьбе, что няня, успокаивая ее всем, чем только могла, наконец начала стращать ее тем, что она накличет новую беду. И причину нового несчастия, разразившегося над моею семьей через несколько часов, няня, хотя и не высказывала этого в глаза матушке, очевидно приписывала ей, как тяжко провинившейся перед богом своими богохульствами и проклятиями.

– Чем пугать меня такими страстями, поди-ка лучше поспи, – ведь ты на ногах еле держишься!.. – сказала матушка совершенно измученной няне, на долю которой выпадало всегда больше, чем другим, напряженной работы за больными, бдения по ночам, беготни, забот и хлопот.

Шел третий или четвертый день после последних похорон; больных в доме не было, и старшие решили отдохнуть, чтобы немедленно начать укладку для окончательного переезда в деревню.

В Погорелое уже был отправлен верховой, чтобы дать знать крестьянам о приезде с телегами для перевозки всего нашего городского имущества. Няня, прежде чем уйти в свою комнату, распорядилась, чтобы горничная затопила все печи. Несмотря на то что наступил уже июнь, в этот день было очень холодно. Горничная получила приказание не выходить ни на минуту из комнат, не бегать в людскую и присматривать за младшими детьми; то же должны были делать и мои старшие сестры. Двое моих братьев ушли из дому, а мы, девочки,

уселись в одной комнате. Но мои сестры, Аня тринадцати и Саша двенадцати лет, прилегли на постель и скоро уснули. Тогда я и моя семилетняя сестра Нина стали бегать по незанятым комнатам. Когда горничная увидала, что матушка и няня спят, что заснули и мои старшие сестры, она, несмотря на приказание, преспокойно ушла в людскую. Мы с Ниной надумали делать стирку белья для наших кукол: достали чашку, налили в нее воды и принялись за дело. Но вот Нина объявила, что уже кончила мытье белья и будет его сушить. Придерживая руками свои мокрые тряпочки, она стала сушить их у открытой печки, пылавшей в ту минуту ярким огнем. Вдруг она отчаянно закричала. Когда я подняла голову от своей работы, легкое бумажное платье сестры пылало на ней, и она с пронзительным криком понеслась в другую комнату. Я побежала за ней и упала без чувств. В сознание я пришла уже на кровати, как мне казалось тогда – от страшной боли в желудке, которая сводила все мои члены. Затем последовала рвота и появились другие признаки холеры. Ускорил ли появление злостной эпидемии испуг, или она уже раньше таилась в моем организме и проявилась сама собой, не съела ли я чего-нибудь неудобоваримого в ту минуту, когда мы с сестрой оставались без присмотра, – неизвестно; только с этой минуты я сильно занемогла. Отчаянно заболевшая Нина лежала в другой комнате.

По рассказам матушки и няни, когда обе они, пробужденные нашими криками, вбежали в залу, мы с сестрой лежали на полу: одна у одной, другая у противоположной двери; я была без чувств, а Нина захлебывалась от рыданий, но была в сознании, – платье на ней продолжало тлеть, а кое-где и вспыхивало искорками. Хотя доктор явился немедленно, но Нина получила такие тяжелые ожоги, а испуг так потряс ее организм, что она в конце того же дня уже стала бредить и не приходила в сознание до самой смерти, наступившей через несколько дней.

После похорон Нины, этих уже восьмых похорон в нашем семействе меньше чем за полтора месяца, я продолжала лежать опасно больная.

Не знаю, как в то время лечили от холеры в других Домах, но наш доктор, между прочим, практиковал у нас такой способ: из постели вынимали перины и подушки, а больного, обернутого в одну простыню, клали на раму кровати, затянутую грубым полотном. Сверху больного укрывали множеством нагретых одеял и перин, в ноги и по бокам его клали бутылки с кипятком, крепко закупоренные и обернутые в тряпки, а под кроватью, то есть под полотном рамы кровати, в огромном медном тазу лежал раскаленный кирпич, который то и дело поливали кипящею водою с уксусом. Таким образом больной вдыхал горячий уксусный пар, который вместе с теплыми покрышками должен был согревать его холодеющее тело.

Не помню, как долго продолжалась моя болезнь, забыла и то, мучительны или нет были мои страдания, но у меня остался в памяти только вот какой момент: на меня вдруг напало какое-то оцепенение, так что я не могла пошевельнуться, не могла отвечать на вопросы няни. Вдруг я почувствовала, что она растирает мне то ноги, то руки, беспрестанно наливает на раскаленный кирпич кипяток с уксусом, и ее горячие слезы падают мне на лицо. Она умоляет меня сказать хотя одно слово, умоляет хотя кивнуть головой, если я ее слышу, а я все слышу, что она говорит, все вижу, что она делает, но остаюсь неподвижною, немою и равнодушною. Не помню, молчала ли я потому, что не могла исполнить ее просьбу, или не хотела этого сделать по упрямству. Тогда она, не отходя от меня, громко позвала матушку, которая быстро вошла в комнату, присела к моей кровати положила руку на мой лоб и проговорила: «Умирает!»

– Боже упаси! – закричала няня в каком-то исступлении. – Мы ее ототрем… Как же так? Непременно ототрем!.. Зовите, зовите доктора, зовите же, матушка барыня, поскорее!

– Ах, не кричи ты, пожалуйста! – с досадой проговорила матушка и затем в каком-то раздумье, покачивая головой, несколько раз повторила: – Девятый покойник! девятый покойник! Что же… Пусть умирает! И оставшихся нечем кормить!

О, зачем, зачем были произнесены слова: «Пусть умирает!» Зачем они дошли до моего слуха! Они надолго остались выгравированными в моем мозгу и, как раскаленные уголья, жгли мое сердце. Во все моменты не только моей детской, но даже отроческой жизни, как только случалась со мной какая-нибудь невзгода, я припоминала их и еще более чувствовала себя несчастною. Эти слова, до глубины значения которых я так долго не могла додуматься, то и дело приходили мне на память, окрашивали все обстоятельства моей жизни в еще более мрачный цвет, заставляли меня отыскивать индифферентизм матери ко мне даже там, где его не было и следа, порождали в моей душе настоящую зависть к окружавшим меня детям наших соседей: мне всегда казалось, что каждого из них любят больше, чем меня, и это заставляло меня мучительно страдать. Чем более я подрастала, тем чаще с невыразимою тоскою и болью в сердце, точно жалуясь кому-то на величайшую несправедливость, на незаслуженное горе, мои уста шептали помимо моей воли: «Моя мать, моя родная мать желает моей смерти! Моя мать, моя родная мать меня не любит!» Мое детство вообще роковым образом сложилось в высшей степени печально, а эти неосторожные слова лишь усиливали его горечь, толкали мою детскую фантазию на изобретение неимоверно нелепых историй, что причинило не только мне, но и матери не мало огорчений. Я придала словам «Пусть умирает!» несравненно более узкий, жестокий смысл относительно меня, чем они имели в действительности. И это натурально: я была в то время слишком мала и совсем еще не понимала того, что они могут вырваться и из материнского сердца, переполненного любовью… Очень возможно, что у матушки эти слова сорвались от страха за новую утрату, но я не понимала и не могла понять в то время этого. Не могла я понять и всей глубины горя, постигшего мою мать, всего ужаса ее положения.

Доказательство неосновательности моей обиды я могла бы найти хотя в том, что во время моей болезни ко мне постоянно ходил доктор, между тем в то время для матушки был дорог каждый грош; что для моего спасения были приняты всевозможные меры… Но я ни в ту минуту, ни гораздо позже ничего не хотела слышать, ни о чем не хотела думать, кроме тех роковых слов, и даже из них брала только одну фразу: «Пусть умирает!», а последующую: «Мне их нечем кормить!» – я опускала, не понимая ее значения, да она и не нужна была мне для моих горьких размышлений и душевных терзаний, для моих гневных чувств, для злобных вспышек против матери, разрывавших на части мое сердце. Своими неосторожными словами матушка нанесла мне смертельную обиду, которая во времена моего злополучного детства нередко не только давила мне грудь, но плодила между нами множество недоразумений, которые проявлялись бы в еще более безобразной форме, если бы бесконечно добрая няня не употребляла всевозможных средств, чтобы смягчать наши взаимные отношения.

Однако пора возвратиться к изложению семейных событий.

Наконец доктор объявил, что моя болезнь не представляет более опасности для жизни, но я была еще очень слаба и не могла ходить: меня выносили в другую комнату и усаживали на диван среди подушек. Делали это, вероятно, для того, чтобы я не скучала одна, без няни; в доме у нас началась лихорадочная укладка для окончательного переезда в деревню.

Когда в первый раз меня перенесли в залу и усадили, меня поразили монотонные звуки, раздававшиеся из кабинета покойного отца. Няня объяснила мне, что «божественное» читают по «дорогим нашим покойничкам», что на днях будет уже шесть недель после смерти моей старшей сестры и что тогда чтица будет отпущена. Она сообщила, что у нас не одна, а две сестры-чтицы для того, чтобы сменять одна другую: когда одна уставала, спала или обедала – ее заменяла другая, чтобы чтение по усопшим продолжалось непрерывно день и ночь. Няня говорила все это отрывочно, так как постоянно выбегала из комнаты, чтобы внести для укладки ту или другую вещь. Вдруг несколько наших слуг с криком: «Воровство! воровство!» – вбежали в залу, а за ними то и дело входили другие. Когда матушка, привлеченная шумом, вошла к нам, они заявили, что, прежде чем укладывать вещи, они стали кое-что про-

верять. Оказалось, что раскрадена не только огромная часть серебра и золотых вещей, но не хватало многого из белья и верхней одежды. Наши служащие высказали подозрение на чтиц, двух молодых девушек, дочерей пономаря, приглашенных для чтения по усопшим. Когда в доме поднялась суматоха, одна из чтиц читала, а другая в это время у нас же спала в людской. Люди сами распорядились устроить за ними такой надзор, чтобы они как-нибудь не вышли из дому, а няня немедленно отправилась доложить об этом полицмейстеру, который, чтобы доказать свою готовность помочь матушке, пригласив с собою няню и полицейских, отправился в дом пономаря. Очень скоро кое-что из украденного было найдено в сундуке молодых девушек, а когда туда же с полицейским привели и двух сестер, они немедленно сознались во всем и объяснили, что ежедневно уносили что-нибудь из нашего добра, но что большую часть украденных вещей они уже сбыли на базаре, на который в то время съезжался всякий люд: и крестьяне, и мелкие торговцы. Родители девушек прибежали к матушке и бросились перед нею на колени, умоляя ее не губить семью. Матушке не было даже смысла преследовать их, так как украденное в то время очень редко находилось. Матушка во всем обвиняла только себя: отец ни во что не верил, следовательно, ни для него, ни для усопших ее детей незачем было выполнять обряд чтения по покойникам.

Наконец злой рок, казалось, утомился вырывать из нашей семьи то одну, то другую жертву, и все несчастия на время прекратились. Дом был продан купцу Сидорову, и продан без убытка, то есть за ту же цену, за которую его приобрел покойный отец. Если бы не деньги, полученные за него, нам немыслимо было бы выехать из города, – столько у нас накопилось долгов за это время болезней и смертей. За уплатою городских долгов у матушки оставалось лишь несколько десятков рублей, с которыми она должна была начать новое хозяйство. Укладка вещей продолжалась несколько дней, и при этом все были заняты с утра до позднего вечера, – приходилось все забирать с собою, так как мы навсегда расставались с городом.

Наше поместье Погорелое находилось в семидесяти пяти верстах от города, в котором мы проживали. Чтобы перевезти наших лакеев, поваров, кучеров, горничных, прачек, а также нас самих, всё наше добро и городскую обстановку, нам прислано было множество телег с лошадьми. Хотя штат нашей прислуги, как мне говорили, всегда был меньше, чем у других, но, по сравнению с нынешним временем, он все-таки был чрезвычайно многолюден. Лошадей и людей было много прислано и оттого, что дороги в то время вообще были крайне плохи, вследствие этого нельзя было слишком тяжело нагружать возы, да и лошади сами по себе отличались в нашей местности малорослостью и слабосилием.

Для путешествия «господской семьи» был прислан из деревни дормез, представлявший нечто вроде громаднейшей первобытной кареты: на огромных высоких колесах стоял неуклюжий ящик чуть не исполинских размеров. Снаружи он был обтянут побуревшею и растрескавшеюся кожею, прибитою к доскам простыми гвоздями, проржавевшими от времени, а по бокам дормеза, или, как мы его называли, «Ноева ковчега», были сделаны отверстия. В дурную погоду эти отверстия, или окна, закрывались сукном, а в хорошую погоду тяжелые суконные полосы прикреплялись над отверстиями. Внутри этот экипаж был обит (конечно, руками доморощенных обойщиков из крестьян) серою матернею, положенною на вату и простеганною в пяльцах руками крепостных девушек.

Каких только мешочков, кармашков и отделений не было прикреплено к обивке этого экипажа внутри! В нем были устроены карманы для полотенец личных и чайных, помещения для бутылок с квасом и молоком, для кружек, для спичечницы, мыльницы, гребешков, щеток; большие мешки предназначались для провизии. Несмотря на то, что объемистые бока дормеза были унизаны помещениями для дорожных принадлежностей и провизии, во всех углах еще стояли ящики с провизией, а узелки и мешочки с разнообразным жарким и печеньем подвешивались к потолку экипажа. Там, где дорога была убийственно плоха, этот экипаж встряхивало до основания, и тогда с верха и боков дормеза срывались с своих мест

бутылки и узлы, и все это летело на головы путешественников. Низ экипажа внутри был устлан сеном, а сверху лежали перины и подушки. Лежать в этом экипаже было удобнее, чем сидеть, так как даже взрослый мужчина мог вытянуться в нем во весь рост. Но не каждому удавалось вылежать всю дорогу. Когда чувствовалась потребность посидеть, приходилось изобретать новый порядок: узлы, ящички и картонки отодвигались в сторону, а сиденье устраивалось из подушек и одеял.

К невообразимой суматохе, господствовавшей в нашем доме во время сборов в деревню, присоединились еще хлопоты по заготовке провизии на дорогу: семьдесят пять верст до деревни мы должны были сделать в два дня, но для этого заготовляли целые вороха всякой снеди, предназначенной как будто для прокормления огромного полка, выступавшего в поход. Накануне уже с раннего утра то повар вносил в залу готовые бисквиты в бумажных коробках и по комнатам проносился запах жженой бумаги, то горничная входила с блюдом булочек разнообразной формы или с жареными гусями, курами, цыплятами. А каких только пирожков не заготовляли для этого случая! Тут были и пирожки с морковью, картофелем, фаршем, и пирожки, в которых запекалось по целому маленькому цыпленку.

Несомненно, что в прежние времена «господа» ели гораздо больше и гораздо чаще, но даже если и это принять в расчет, все же непонятно, зачем все это делалось в таких поразительных размерах, особенно в нашей семье, в то время, когда в доме был такой недостаток в деньгах. Матушка разрешала этот вопрос очень просто: «Все так делали», к тому же, кроме еды, и делать-то в прежнее время помещикам нечего было, а главное – нужно помнить и то, что в то время деревенские сбережения или не имели сбыта, или ценились так дешево, что их не стоило продавать.

Наступил и день отъезда. Все запаковано и уложено; вся улица перед нашим домом запружена подводами с сидящими уже на них людьми и с возами наших вещей; дормез у крыльца. Городская квартира совершенно пуста; торопливо ставят в угол нарочно принесенный откуда-то столик, покрывают его чистою салфеткою, в угол прилаживают образ, прикрепляют к нему восковую свечу, и няня подводит нас, детей, к нему со словами: «Помолитесь боженьке, помолитесь на дорожку!» В эту минуту вошла матушка, встала позади нас и вдруг со стоном упала на колени.

– Боже! за что же, за что все это? – отчаянно рыдая, вскричала она, ломая руки, затем быстро поднялась и направилась в кабинет мужа, перешла в комнату только что умерших дочерей и сыновей, и отовсюду раздавались ее разрывающие душу не то вопли, не то отчаянные крики, вылетавшие из глубины сердца, возмущенного несправедливостью судьбы. Мы, дети, прижались к няне и плакали вместе с нею. Но вот безумные рыдания матушки стихли, она вошла к нам с лицом, искаженным душевною мукою, покрытым багровыми пятнами, с глазами, опухшими от слез и рассеянно блуждавшими; ее грудь судорожно подымалась от внутреннего волнения, и она прислонилась к стене, но вдруг схватилась рукою за сердце, нечеловеческий крик вырвался из ее груди, и она рухнула на пол без чувств.

Жгучая, страстная любовь к матери обожгла мое детское сердце, я хотела было броситься к ней, чтобы целовать ее ноги, просить у нее прощения за то, что еще так недавно я не любила ее, ее – такую несчастную, но мои слабые от болезни ноги покачнулись, и няня еле подхватила меня. О, отчего я не могла тогда рыдать на груди моей несчастной матери! Эти слезы, может быть, заставили бы меня забыть навсегда те роковые слова, я скорее поняла бы всю глубину ее несчастья, поняла бы, что, будучи еще молодою, здоровою, красивою женщиною тридцати шести лет, она уже навеки прощалась со счастьем всей своей личной жизни, и моя бы обида против нее скорее улеглась!.. Но этого не случилось: я была слишком слаба, чтобы подойти к ней, да и около нее уже суетилось несколько человек. Откуда-то достали кровать, уложили на нее матушку, давали ей что-то нюхать, обливали ее водою, но не могли привести в чувство, и няня послала за доктором. Но и его старания оказались также

безуспешными, и матушка не приходила в себя. Тогда доктор послал к себе за креслом, усадил в него с помощью людей бесчувственную матушку, обнажил ее руку и пустил ей кровь. Матушка открыла глаза и пришла в себя. Когда кровопускание было окончено и рука забинтована, доктор приказал положить ее на постель и присел к ее кровати. Он объявил ей, что она не должна предпринимать путешествие в деревню ранее нескольких дней, в продолжение которых он должен следить за ее здоровьем, и посоветовал ей, во избежание подобных обмороков, ежегодно пускать себе кровь.

К несчастью, матушка послушалась этого совета и стала ежегодно пускать себе кровь сначала раз в год, а потом и два. Нужно заметить, что она, несмотря на свой тридцатишестилетний возраст, несмотря на множество рожденных ею детей, неизменно отличалась превосходным здоровьем. Она не только никогда не хворала, но даже каждый раз после родов, как она нам сказывала, не лежала в постели более двух-трех часов и в тот же день продолжала прерванную деятельность, то есть шила для детей или учила кого-нибудь из них, – одним словом, делала все то, что и в обыкновенное время. Этот обморок случился с нею в первый и последний раз в жизни, но, как только она стала прибегать к кровопусканиям, она, несмотря на в высшей степени деятельную жизнь в деревне и большой моцион, стала чрезмерно толстеть. Через лет десять она уже выглядела старухою и стала чрезвычайно толстою, так что расхаживать по полям и лугам, как делала это в первые годы своей самостоятельной жизни в деревне, уже не могла и ездила в карафашке. Когда приближался срок кровопускания, у ней начинались приливы крови к голове, и она чувствовала недомогание. Только после многих лет такого способа лечения один доктор убедительно доказал ей вред для нее кровопускания, и она наконец решилась покончить с ним.

Продолжаю прерванный рассказ. Как только доктор удалился, матушка не позволила распрягать лошадей, а, полежав очень недолго, приказала всем выходить на крыльцо, чтобы отправляться в дорогу.

Наш переезд в деревню скорее походил на «великое переселение народов», чем на переселение семьи в деревню за семьдесят пять верст. До двадцати телег, нагруженных нашим имуществом, были расставлены друг за другом. Последние из них были заняты служащими с привязанными позади городскими коровами. Лошади дормеза были увешаны бубенцами, а к дуге коренника подвесили большой и звонкий колокол; три лошади этого экипажа были запряжены кряду, тройкой, и ими управлял кучер; но едва ли одна тройка могла бы стащить такую махину, как «Ноев ковчег», а потому в него были впряжены еще две лошади впереди, и ими управлял крестьянин, сидевший верхом на одной из них. Можно себе представить, какой раздался шум, визг, треск, звон колокольчиков и бубенцов, когда все лошади тронулись в путь.

Низ нашего первобытного экипажа был устлан перинами, подушками и покрыт одеялами. Матушка улеглась с одного края; подле нее положили меня, возле примостилась няня, а против нас усадили двух братьев [и] Двух сестер. Моему старшему брату Андрюше было в то время четырнадцать лет, – он был кадетом полоцкого корпуса и приехал домой на летние каникулы; сестре Анне было тринадцать лет, Саше – двенадцать, Заре (Захару) – девять лет, я была самою младшею. Таким образом, у матушки было теперь всего пять человек детей.

Вначале дорога шла весьма сносная, и мы подвигались довольно быстро. Няня всех оделила орехами: братья и сестры щелкали и перегрызали их собственными зубами, выбрасывая шелуху за оконца, открытые по случаю прекрасной летней погоды. Но вот кочки и выбоины стали чаще попадаться по дороге, и нас то и дело встряхивало. Матушка, только что перенесшая внезапный обморок и кровопускание, вероятно сильно страдала, так как у нее от времени до времени вырывались тяжелые стоны. Няня беспрестанно останавливала старших детей, громко болтавших между собою. Но это не действовало на Андрюшу, который стал уверять, что тряска экипажа помогает ему разгрызать орехи. В эту минуту экипаж

стал сотрясаться без передышки. Андрюша, желая на деле показать справедливость своих слов, вскочил с своего места, продолжая щелкать орехи. Вдруг «Ноев ковчег» встряхнулся до основания, Андрюша схватился рукой за тесьму, придерживавшую бутылку с квасом, нечаянно сорвал ее с места, она разбилась, и квас выплеснулся на наши ноги. Матушка гневно приподнялась с своего места, приказала кучеру остановиться и вкатила брату тяжеловесную оплеуху со словами: «Болван! Разучился благопристойно держать себя в присутствии матери! Марш на телегу с людьми!»

Возвратившись из корпуса на каникулы, брат Андрей старался держать себя уже взрослым. Помогало этому то, что, вследствие смерти старших братьев и сестер, он оказывался теперь старшим членом семьи, а может быть, уже такой возраст пришел, когда подростки любят казаться более взрослыми, чем они есть на самом деле. Как бы то ни было, но он начал покрикивать на людей, командовать ими, давать свои приказания более авторитетно, чем это делали у нас взрослые, и тоном, не допускающим возражений, что так ненавидела матушка. Очень возможно, что она замечала это уже в городе и ее неудовольствие на поведение сына все росло, но ей было не до того, чтобы каждый раз резко обрывать его, хотя это было главным правилом ее воспитания. Я только этим и могу объяснить матушкину пощечину и изгнание на людскую телегу четырнадцатилетнего юноши: то и другое даже для нее было слишком бесцеремонно и до сих пор не практиковалось в нашем доме.

Однако оплеуха сама по себе, как много раз после этого вспоминал брат, еще не была для него особенно оскорбительною, так как она нанесена была в присутствии только членов своего семейства: ужаснее для него было приказание ехать в одной телеге с крепостными. У кого в то время с ранних лет не было дворянского гонора? Брат много раз впоследствии вспоминал об этой неприятности, полученной им в дороге, и всегда удивлялся себе, что он, в то время заносчивый и задорный, мог выполнить такое приказание. Но матушка была натурой в высшей степени властной, и едва ли возможно было даже Андрюше, который был ее первым любимцем, не повиноваться ей.

Когда экипаж, уже без брата, пустился в путь, мы поехали рысцой. Однако кучер скоро слез с козел, подбежал к окошечку, около которого лежала матушка, и просил позволения сменить двух уставших лошадей на привязанных сзади к одной из телег.

Наконец день стал склоняться к вечеру, и мы, чтобы не платить денег за ночлег на постоялом дворе, остановились при въезде в одну деревню и вышли из экипажа. Люди вынесли из хаты скамейки и стол, отправились ставить самовар, который мы везли с собою, развязывали провизию и расставляли на столе. Когда мы покончили с чаем и закусками, ввиду теплого вечера матушка приказала отыскать для братьев сеновал для ночлега, а мы все с матушкою и нянею улеглись в дормезе. Люди, бывшие с нами, устроили между собою смену: одни из них оберегали лошадей и нас, другие спали в это время, а затем вставали и дежурили в свою очередь. Как только рассвело, нас разбудили, мы вылезли из экипажа, началось чаепитие, – и снова отправились в путь. Хотя мы выехали очень рано и всей дороги оставалось верст тридцать, но на этот раз предполагалось кормить лошадей в пути, и нас ожидал знаменитый «Дедов мост», который многие совершенно правильно называли «Чертовым мостом». Он никогда не был мостом или, может быть, был им в давнопрошедшие времена, так как не только в то время, которое я описываю, но и через лет тринадцать после этого, когда я проезжала здесь, он был мало чем лучше. «Чертовым мостом» называли известную часть дороги или, точнее сказать, совершенное ее отсутствие на пространстве трех-четырех верст.

Когда мы рано утром тронулись в путь, верст через пять-шесть справа и слева дороги потянулись топкие болотистые местности, поросшие жалким кустарником; дорога становилась все хуже, и, наконец, перед нами во всем своем ужасающем величии предстал «Чертов мост». Его нельзя было назвать ни мостом, ни дорогою, – это просто был какой-то непости-

жимый хаос. Иначе трудно определить эту невыразимую путаницу кое-как набросанных и переломанных засохших ветвей, щебня, самого разнообразного мусора, камней, всевозможных обрубков, дранок, палок и грязи, грязи без конца. Здесь и там на этой дороге, называемой «Чертовым мостом», появлялись то углубления, то огромные топкие лужи, в которые проваливались лошади по самое брюхо и вязли колеса экипажа. Здесь торчком высовывались тонкие обрубленные стволы деревьев, там на выдающихся грязных кочках торчали камни, а тут же подле зияла мутная колдобина, блестя на солнце своею зеленоватою грязью.

Эта невообразимая путаница луж, трясин и гниющих древесных масс образовалась потому, что в этой сырой, топкой и низкой местности никогда не устраивали надлежащей дороги, а подле не было даже канав для стока болотной грязи. Когда становой узнавал, что тут скоро придется проезжать архиерею или какому-нибудь важному чиновнику, он сгонял крестьян тех землевладельцев, которым принадлежали эти болота, и тогда наскоро чинили «Чертов мост». Но вся починка состояла в том, что крестьяне привозили к означенному месту возы хвороста, песку, камней, щебня, наваливали все это по всему пространству и несколько утрамбовывали сваливаемое. И при проезде важного лица эта дорога была очень плоха, но все же лошади не вязли здесь по брюхо и, хотя с грехом пополам, тут можно было проехать. Но через месяц-другой после починки, особенно после ливней или зимних оттепелей, «Чертов мост» принимал свой обычный вид. К тому же по нашим дебрям и захолустьям важные лица проезжали чрезвычайно редко; чаще это случалось в зимнее время, когда замерзали все лужи, когда массы снега заметали все ухабы и выбоины, – тогда снежный покров выравнивал всю эту адскую местность; только в такое время года и можно было проезжать по «Чертову мосту», не опасаясь вытрясти все внутренности или погубить лошадей и экипаж.

Прежде чем наш дормез вступил в область «Чертова моста», кучер остановил лошадей и подошел к окошечку, у которого лежала матушка. Он отрапортовал, что лошадь с первою телегою, которую он отправил вперед, чтобы испробовать дорогу, уже завязла, что нам, вероятно, долго придется простоять на одном месте, так как он должен вместе с другими людьми вытаскивать телеги и поправлять дорогу для проезда нашего экипажа. Все бывшие с нами люди выскочили из телег, схватили палки и начали вымерять ими глубину болотных луж и провалов, по которым предстояло проезжать. При этом несколько человек уже обрубали топорами кустарники и тонкие деревца по бокам дороги и наваливали их в колдобины и лужи; затем еще несколько человек, взяв длинный брус и став с двух сторон увязнувшего воза, запускали его под провалившуюся телегу, вытаскивая ее из грязи, а другие тащили увязнувшую лошадь. Когда это было окончено, то, прежде чем тащиться дальше, решено было пустить вперед все возы, один за другим: как только одному из них приходилось двинуться вперед по особенно опасному месту, к нему подбегали двое людей и тянули лошадь под уздцы, направляя ее то вправо, то влево. Сами люди все это время оставались в топкой грязи, беспрестанно проваливаясь по колено и даже по пояс. Так как перед нашим экипажем друг за другом продефилировало до Двадцати наших возов, то все это продолжалось очень долго. Наконец тронулись и мы. И вот заскрипел, завизжал и отчаянно застонал наш «Ноев ковчег»!.. Впереди нас люди насыпали хворост в углубления, так как предыдущие телеги при своем проезде уже несколько испортили только что произведенную поправку. Каждую из пяти лошадей дормеза держал под уздцы особый человек, который вытаскивал ее при первой попытке увязнуть. А другие крестьяне, чтобы облегчить тяжесть труда лошадей, схватились за брусья, на которых укреплен был экипаж, и тащили его вперед. Общие усилия крестьян не остались тщетными, и мы наконец выпутались из первого затруднения. Но вся эта «чертова дорога» была убийственно дурна, а таких мест, на которых приходилось набрасывать хворост и вытаскивать лошадей, было несколько.

Боже мой! Чего только не было с «Ноевым ковчегом» во время особенно тяжелых переездов: он вдруг то выкидывал удивительное сальто-мортале и при высоком для себя скачке вверх трясся, точно живое существо от страха перед чем-то страшным, то накренялся в одну сторону или в другую, то начинал трещать и скрипеть в такой степени, что, казалось, мы вместе с ним будем разбиты вдребезги. При этом мы ударялись о бесчисленные металлические скрепы и гвозди с внутренних его боков. Сильно разбили мы себе спины о его брусья сзади, исколотили головы, перебудоражили все внутренности от жестокой тряски. Дорожные вещи, укрепленные по внутренней обивке экипажа, беспрестанно срывались со своих мест и падали на головы сидящих.

Наконец адская дорога кончилась: лошади и люди были измучены до последней степени, а матушка, чтобы дать возможность отдохнуть после этого ада, приказала остановиться у первой деревни, хотя до Погорелова нам оставалось не более десяти – двенадцати верст.

Мы въезжали в наше поместье уже под вечер. Я совсем забыла деревню, вероятно потому, что год тому назад была еще слишком мала, чтобы удерживать что-нибудь в памяти. Как только показались наше огромное, чудное озеро у подножия горы и наш, в то время еще красивый, большой деревенский дом, няня приподняла меня с моего ложа.

– Смотри, смотри, вот и наше озеро! А наш-то дом, ишь как блестит на солнышке, – сущий дворец!

Когда меня вынесли из дормеза, я встала на ноги и уже больше не ложилась. На крыльце стояло несколько баб и крестьян с приношениями и с своими ребятами: крестьяне подносили матушке хлеб-соль, бабы – яйца, их дети подавали сестрам и мне букеты полевых цветов, живых зайчиков, чуть оперившихся птичек.

Матушка, несмотря на свою деятельную натуру и на то, что в первый день приезда у каждой хозяйки много хлопот, расхаживала без дела по комнатам, точно в первый раз рассматривала их, и слезы градом катились по ее щекам. Щемило ли ее душу сознание, что она впервые, и уже навсегда, вошла в этот дом одна, без мужа, которого она так любила, ужасала ли ее перспектива того, что теперь исключительно на одни ее плечи свалились и тяжесть воспитания детей, и обязанность привести в порядок совершенно расстроенное хозяйство, или и еще что тревожило ее, но она рассеянно давала распоряжения и отправилась в «боковушку» – маленькую комнату дома в одно окно, а затем стала звать туда меня и няню. Когда мы вошли, она схватила меня на руки и начала осыпать меня поцелуями, между тем как неудержимые слезы падали из ее глаз на мои руки и голову. Она сказала нам, что предназначает эту комнату для меня с нянею: так как я теперь самая младшая в семье и хворая, то няня нужна для меня больше, чем для других, и приказала перенести сюда только наши две кровати.

Как я была счастлива при мысли, что я буду теперь всегда с моею милою нянею! Я поняла слова матушки так, что она дарила мне няню в мою полную и неотъемлемую собственность и что няня с этих пор должна была принадлежать только мне, и мне одной.

Глава III. Жизнь в деревне (1848–1855 годы)

Отсутствие семейной жизни в нашем доме. – Отчаянная тоска сестры Саши и ее страстное стремление к образованию. – Ее дневник. – Хозяйственные реформы матушки. – Материальное положение старосты и его значение. – Недовольство дворовых переменами в хозяйстве. – Васька-музыкант и Минодора, их злосчастное положение. – Загадочная болезнь сестры и ее отъезд в пансион. – Продажа Васьки и его жены

В то давнопрошедшее время, то есть в конце 40-х и в 50-х годах XIX столетия, дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом: вели они совсем простой образ жизни, и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени. Может быть, вследствие этого мы, дети, с величайшим интересом слушали рассказы старших о том, с каким царским великолепием жили те или другие помещики, как роскошно были обставлены их громадные дома, походившие на дворцы, какие блестящие пиры задавали они, как устраивали охоты с громадными сворами собак, когда за ними двигались целые полчища псарей, доезжачих и т. п. Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на двести кругом. Не говоря уже о мелкопоместных дворянах, которых было особенно много в нашем соседстве, но и помещики, владевшие 75-100 душами мужского пола, жили в небольших деревянных домах, лишенных каких бы то ни было элементарных удобств и необходимых приспособлений. Помещичий дом чаще всего разделялся простыми перегородками на несколько комнат, или, точнее сказать, клетушек, и в таких четырех-пяти комнатюрках, с прибавкою иногда флигеля в одну-две комнаты, ютилась громаднейшая семья, в которой не только было шесть-семь человек детей, но помещались нянюшки, кормилица, горничные, приживалки, гувернантка и разного рода родственницы: незамужние сестры хозяина или хозяйки, тетушки, оставшиеся без куска хлеба вследствие разорения их мужьями. Приедешь, бывало, в гости, и как начнут выползать домочадцы, – просто диву даешься, как и где могут все они помещаться в крошечных комнатках маленького дома.

Совсем не то было у нас, в нашем имении Погорелом: сравнительно с соседями у нас был большой, высокий, светлый и уютный дом с двумя входами, с семью большими комнатами, с боковушками, коридором, с девичьей, людскою и с особым флигелем во дворе. Но и наш дом поражал своими размерами только сравнительно с очень скромными домами наших соседей. Он был построен моим отцом вскоре после его женитьбы и, как все, что он устраивал, свидетельствовал о том, что он любил жить на более широкую ногу, чем позволяли ему его средства.

Можно было удивляться тому, что из нашей громадной семьи умерло лишь четверо детей в первые годы своей жизни, и только холера сразу сократила число ее членов более чем наполовину; в других же помещичьих семьях множество детей умирало и без холеры. И теперь существует громадная смертность детей в первые годы их жизни, но в ту отдаленную эпоху их умирало несравненно больше. Я знавала немало многочисленных семей среди дворян, и лишь незначительный процент детей достигал совершеннолетия. Иначе и быть не могло: в то время среди помещиков совершенно отсутствовали какие бы то ни было понятия о гигиене и физическом уходе за детьми. Форточек, даже в зажиточных помещичьих домах,

не существовало, и спертый воздух комнат зимой очищался только топкой печей. Детям приходилось дышать испорченным воздухом большую часть года, так как в то время никто не имел понятия о том, что ежедневное гулянье на чистом воздухе – необходимое условие правильного их физического развития. Под спальни детей даже богатые помещики назначали наиболее темные и невзрачные комнаты, в которых уже ничего нельзя было устроить для взрослых членов семьи. Спали дети на высоко взбитых перинах, никогда не проветриваемых и не просушиваемых: бок, на котором лежал ребенок, страшно нагревался от пуха перины, а другой в это время оставался холодным, особенно если сползало одеяло. Духота в детских была невыразимая: всех маленьких детей старались поместить обыкновенно в одной-двух комнатах, и тут же вместе с ними на лежанке, сундуках или просто на полу, подкинув под себя что попало из своего хлама, спали мамки, няньки, горничные.

Предрассудки и суеверия шли рука об руку с недостатком чистоплотности. Во многих семьях, где были барышни-невесты, существовало поверье, что черные тараканы предвещают счастье и быстрое замужество, а потому очень многие помещицы нарочно разводили их: за нижний плинтус внутренней обшивки стены они клали куски сахара и черного хлеба. И в таких семьях черные тараканы по ночам, как камешки, падали со стен и балок на спящих детей. Что же касается других паразитов, вроде прусаков, клопов и блох, то они так искусывали детей, что лица очень многих из них были всегда покрыты какою-то сыпью.

Питание так же мало соответствовало требованиям детского организма: младенцу давали грудь при первом крике, даже и в том случае, если он только что сосал. Если ребенок не унимался и сам уже не брал груди, его до одурения качали в люльке или походя на руках. Качание еще более мешало детскому организму усвоить только что принятую пищу, и ребенок ее отрыгивал. Рвота и для взрослого сопровождается недомоганием, тем более тяжела она для неокрепшего организма ребенка. Вследствие всех этих причин покойный сон маленьких детей был редким явлением в помещичьих домах: обыкновенно всю ночь напролет раздавался их плач под аккомпанемент скрипа и визга люльки (зыбки) или колыбели.

Глубоко безнравственный помещичий обычай, при котором даже здоровая мать сама не кормила грудью своего ребенка, а поручала его кормилице из крепостных, тоже очень вредно отзывался на физическом развитии. Еще более своей барыни неаккуратная, грязная и невежественная мамка, чтобы спокойно спать, клала ребенка к себе на всю ночь. Она прекрасно знала, что в такое время ее не будут контролировать, к тому же для ребенка спать на одной кровати с мамкою, не выпуская груди, в то время не считалось вредным. Если младенец все же кричал, мамка давала ему соску из хлеба, иногда размоченного в водке, или прибавляла к нему тертый мак. Детей в большинстве случаев кормили грудью по два, а то и по три года. Женщину выбирали в кормилицы не потому, что она была молода, здорова и не страдала болезнями, опасными для дитяти, но вследствие различных домашних соображений: ревнивые помещицы избегали брать в кормилицы молодых и красивых женщин, чтобы не давать своим мужьям повода к соблазну.

Вредное влияние имел и общераспространенный обычай пеленать ребенка: крепконакрепко забинтованный свивальниками от шеи по самые пятки, несчастный младенец неподвижно лежал по нескольку часов кряду, вытянутый в струнку, лежал до онемения всех членов. Такое положение мешало правильному кровообращению и пищеварению. К тому же постоянное трение пеленок о нежную кожу дитяти производило обильную испарину, которая заставляла ребенка легко схватывать простуду, как только его распеленывали.

При таком же отсутствии каких бы то ни было здравых понятий ребенок переходил в последующую стадию своего развития. Подрастая, он более всего стремился попасть в людскую, – в ней было веселее, чем в детской: тут горничные, лакеи, кучера, кухонные мужики, обедая, сообщали друг другу новости о только что слышанных происшествиях в семьях других помещиков, о романических приключениях его родителей. Притягивала ребенка к себе

людская и потому, что она в то же время служила кухнею для господ. Тут обыкновенно валялись остатки от брюквы, репы, а осенью множество кочерыжек, так как в это время года шинковали капусту, заготовляя ее на зиму в громадном количестве. Этою сырою снедью помещичьи дети объедались даже и тогда, когда в окрестных деревнях свирепствовала дизентерия.

Главное педагогическое правило, которым руководились как в семьях высших классов общества, так и в низших дворянских, состояло в том, что на все лучшее в доме – на удобную комнату, на более спокойное место в экипаже, на более вкусный кусок – могли претендовать лишь сильнейшие, то есть родители и старшие. Дети были такими же бесправными существами, как и крепостные. Отношения родителей к детям были определены довольно точно: они подходили к ручке родителей поутру, когда те здоровались с ними, благодарили их за обед и ужин и прощались с ними перед сном. Задача каждой гувернантки прежде всего заключалась в таком присмотре за детьми, чтобы те как можно менее докучали родителям. Во время общей трапезы дети в порядочных семействах не должны были вмешиваться в разговоры старших, которые, не стесняясь, рассуждали при них о вещах, совсем не подходящих для детских ушей: о необходимости «выдрать» тех или других крепостных, которых они обзывали «мерзавцами», «негодяями» и еще похуже, рассказывали самые скабрезные анекдоты о своих соседях. Детей, точно так же как и крепостных, наказывали за каждый проступок: давали подзатыльника, драли за волосы, за уши, толкали, колотили, стегали плеткой, секли розгами, а в очень многих семьях секли и драли беспощадно.

Благодаря моему покойному отцу, страстно любившему своих детей, благодаря его природной мягкости, в нашей семье не были в ходу ни розги, ни другие педагогические воздействия крепостнического характера. Правда, матушка не прочь была дать подзатыльника, толкнуть в спину и дернуть за волосенки, но даже и после смерти отца прибегала к этому довольно редко. Во всяком случае, я могу сказать, что члены моей семьи почти не страдали от телесных наказаний, кроме тех случаев, когда матушке приходилось обучать кого-нибудь из нас: тогда она уже совсем не могла обуздывать своего вспыльчивого и нетерпеливого характера.

Как бы то ни было, но семья наша резко выделялась среди помещичьих семейств нашей местности как своим большим умственным и нравственным развитием, так и гуманным отношением к крепостным и окружающим, к близким и дальним. Даже и после смерти отца до меня никогда не доносились стоны засекаемых крестьян, и в нашем доме не раздавались ни оплеухи, ни зуботычины горничным, но я не хочу сказать этим, что крепостническая зараза совсем не коснулась моей матери. Напротив, как это ни странно, но, несмотря на двадцатилетнее супружеское сожительство с человеком, которого матушка горячо любила и глубоко уважала, яд крепостничества сильно отравил и ее кровь и от времени до времени давал себя чувствовать проявлением крепостнического произвола, в особенности же произвола ее родительской власти.

В период нашего полного обнищания никто из детей никогда не подумал попросить у матушки купить чего-либо сладкого. Матушка так экономничала при покупке даже самого необходимого, что подобная просьба с нашей стороны могла бы возбудить в ней лишь бурное негодование, но «сладкие воспоминания» о прошлом не давали нам покоя. Вечером «сумерничали», то есть не зажигали огня, пока не наступала полная темнота. Хотя единственным освещением у нас были сальные свечи, которые приготовлялись в нашем доме из сала собственных животных, но так как главным принципом нашей жизни сделалась теперь экономия решительно во всем, то у нас крайне бережливо относились даже и к свечам: по вечерам во всем нашем деревенском доме обыкновенно горели лишь две свечи: одна на столе в столовой, за которым должны были сидеть все мы с матушкой и няней, а другая в девичьей. Все это нам, детям, привыкшим к жизни на широкую ногу в городе, очень не нравилось, но

с особенным соболезнованием рассуждали мы о сладком (конечно, в отсутствие матушки), которого теперь нам совсем не давали. «Господин кадет» (так матушка в сердцах называла брата Андрея), а за ним и остальные начинали забрасывать няню вопросами такого рода: «Отчего у нас не делают теперь ни битых сливок, ни бисквитов, – ведь сливки и яйца у нас свои, а не покупные?» Получался ответ: «Оттого, что нам нужно с сахаром и крупчаткой экономить, да и некогда нам теперь с этим хороводиться… И не докучайте вы этим мамашеньке… Ради Христа, не раздражайте ее…»

Однако мы не совсем лишены были сладкого. Из меда и патоки у нас заготовляли на зиму варенье из местных ягод, делали маринады и сиропы, приготовляли немного и сахарного варенья, но часть заготовок, особенно из патоки, обыкновенно портилась. Каждый горшок испорченного варенья или маринада няня показывала матушке, которая, отведав принесенное ей, говорила что-нибудь в таком роде: «Какое несчастие! Действительно, никуда не годится! Что же, давай детям!» При этом она позволяла давать нам испорченный маринад или варенье ежедневно, но не более как по маленькому блюдечку, однако не потому, что при большем количестве мы могли заболеть, а чтобы растянуть наше удовольствие на более продолжительный срок. И вот по целым неделям и месяцам мы ежедневно после обеда ели паточное или медовое варенье, прокисшее до такой степени, что от него шел по комнате запах кислятины. То же самое было и относительно всех других домашних заготовлений: все, что покрывалось уже плесенью, особенно если это было съестное, отдавали дворовым, менее испорченное и сладкое получали мы, дети. Мы с аппетитом ели порченое, благословляя неудачи в хозяйстве, но все же были не прочь полакомиться и кой-чем получше, особенно тем, чего нам не только не давали, но что от нас тщательно прятали.

Мы, дети, с особенным нетерпением ожидали времени, когда у нас вырезывали соты из пчелиных ульев. Это происходило в жаркие летние дни. Мы все выбегали тогда на крыльцо; с него видно было, как старый Мирон шел к пчелиным ульям в особом наряде по этому случаю: на его голове одето было что-то вроде маски из грубой домашней кожи с дырками, вырезанными для глаз, рта и носа, а на его руках натянуты были длинные неуклюжие доморощенные перчатки; он держал чистенький деревянный лоток, на котором лежали ложка, нож и лопаточка. Когда вырезанные соты приносили в залу, матушка с нянею укладывала их в особые горшки, внизу которых была просверлена дырочка, заткнутая деревянного втулкой. Положив соты в такой горшок, его ставили на высокую табуретку; к ней подставляли табуретку пониже и ставили на нее пустой горшок без дырки; затем втулку из верхнего горшка вынимали, и чистый мед стекал вниз, во второй горшок. Эта операция производилась по праздникам, то есть в такие дни, когда матушка была дома, а на случай ее отлучки комната, в которой это происходило, замыкалась на ключ. Если матушка в такое время случайно куда-нибудь отлучалась, наш «кадет» из палисадника отворял в зало окно, шпингалеты которого были испорчены, и не только сам влезал в замкнутую комнату, но уговаривал и остальных детей сделать то же; меня общими усилиями подымали на руках. Очутившись в зале, мы подбегали к горшкам, подставляли под текущий мед наши ладони, облизывали их и снова совали руки в сладкую струю. Няня тотчас догадывалась о нашей проделке и, подбежав к окну из палисадника, начинала выкрикивать: «Мамашенька идет… вот ужо все ей расскажу!..» Мы в ужасе выскакивали из окна один за другим. Няня вся тряслась от страха: если матушка сама не увидит нашей проделки, то о ней ей может сообщить кто-нибудь из прислуги. И вот няня начинала обыкновенно особенно бранить брата: «Экий ты бессовестный озорник, Андрюша! Перекрещусь, когда в корпус уедешь! Хорошему сестер-братьев обучаешь!»

Нас, детей, было в это время пять человек, но наше присутствие в летнее время в больших комнатах дома совсем было незаметно. Мой старший брат Андрюша, приехавший из корпуса только на каникулы, редко сидел дома: он отправлялся в гости то к кому-нибудь из соседей, то с кем-нибудь из них шел на охоту, – одним словом, никто не – знал, куда он ухо-

дил, с кем водил дружбу, и, что всего удивительнее, никто в доме этим и не интересовался. Если матушка не находила нужным следить за старшим сыном, которому в то время кончалось четырнадцать лет, то она так же мало обращала внимания и на Зарю (Захар), которому исполнилось лишь девять лет.

Когда наступало время обеда или ужина, няня выбегала на крыльцо и громко звала отсутствующих или посылала людей разыскивать их. Являлись они или не являлись, за стол принято было садиться в строго определенный час. Если опоздавший возвращался ко второму или третьему кушанью, он ел его с другими, но ни первого, ни второго ему уже не подавали. Матушка находила, что опоздавший не мог быть особенно голоден, если он сам не думал о еде, и не дозволяла предпринимать ради него лишних хлопот. Это правило она объявила нам скоро после нашего переселения в деревню, и его с тех пор строго придерживались в нашей семье. В матушкином характере не было и тени злобы или мстительности, совсем не отличалась она и ворчливостью: правило о времени наших обедов и ужинов она точно установила потому, что считала это необходимым для сбережения своего времени, которое она очень ценила, и для порядка в хозяйстве; но она никогда не упрекала опоздавших, не ворчала на них за опаздывание. Ничуть не пугало и опоздавших то, что они могут лишиться какого-нибудь кушанья или даже всего обеда: на няне лежала обязанность сохранять и распределять остатки от общей трапезы, и она откладывала опоздавшему всего, чего тот не получил. Когда вставали из-за стола, она тихонько дергала опоздавшего, и тот немедленно отправлялся за нею в кладовеньку или боковушку, где он нередко после ягод с молоком ел холодные щи или борщ. Но это не смущало моих братьев – они находили такой порядок еще более заманчивым, чем обычный: опоздавший получал в прибавку пару яиц, кусок ветчины или что-нибудь в этом роде, так как няня всегда боялась, чтобы кто-нибудь из нас не остался голодным. Подозревала ли матушка, что ее инструкция относительно обедов выполнялась чисто формально – неизвестно, – скорее всего, что, кроме своего хозяйства, она в то время решительно ни о чем не думала. Она редко, да и то совершенно рассеянно, спрашивала у возвратившихся, где они были и что делали; видимо, и эти вопросы она задавала, чтобы что-нибудь сказать с своими детьми, которых она так редко и мало видела, с которыми ей почти совсем не удавалось поболтать.

Матушка, кроме праздничных дней, ежедневно с рассветом выходила из дому на поля, и мы первый раз видели ее только перед обедом, когда она возвращалась крайне утомленная. Друг за другом подходили мы целовать ее руку, при этом она торопливо возвращала нам наши поцелуи и задавала одни и те же вопросы: «Ну, что, здорова? Нагулялась?» На эти стереотипные вопросы мои сестры часто просто молчали, так как нередко в тот день они не могли даже выходить со двора вследствие дурной погоды, но матушка не замечала или не придавала значения их молчанию. Она вся отдалась хозяйству, вся ушла в новое для нее дело, и у нее в первые годы нашей деревенской жизни не оставалось свободной минуты, чтобы думать даже о родных детях. Отсутствие заботы о нас отчасти, может быть, происходило и оттого, что она прекрасно знала страстную любовь и преданность к нам нашей няни и была покойна, что мы будем одеты и накормлены. Как бы то ни было, но отсутствие внимания к нам со стороны матери быстро уничтожало семейный элемент в нашем доме, столь сильно дававший себя чувствовать при покойном отце, который всегда был окружен детьми. Теперь каждый член нашей семьи мало-помалу начал жить своею особою жизнью; только горячая преданность к нам няни и наша общая любовь к ней поддерживали связь между нами. Она одна в доме знала, что занимает в данную минуту каждого из нас, наши характеры и желания, наши достоинства и недостатки и отдавала нам всю свою душу.

Если мои братья никогда не сидели дома, то мои сестры почти не выходили из него. Что же касается меня, то я ни на шаг не отпускала от себя няню: она шла в амбар выдавать муку, крупу или зерно, и я, накинув большой платок, тащилась за нею. Моя старшая сестра Нюта

постоянно вышивала гладью оборочки и воротнички (самая распространенная работа того времени), переснимала различные рисунки, составляла узоры для женских рукоделий, забегала в кухню постряпать какое-нибудь кушанье или копалась в саду и палисаднике, сажая цветы, окапывая кусты; сестра Саша, не поднимая головы, сидела за книгами.

Когда впоследствии, уже будучи взрослой, я после долгой разлуки с моим семейством близко сошлась с сестрою Сашей, а также когда после ее трагической кончины я перечитала ее письма ко мне и ее дневник, я была поражена ее обширными сведениями, ее феноменальною любознательностью, ее страстным стремлением к знанию, ее привычкою думать и рассуждать о разнообразных сложных нравственных и умственных вопросах и явлениях. В то беспросветное время, когда умственное развитие русского общества было так слабо, когда женщины и девушки не думали ни о чем, кроме замужества, тряпок и хозяйства, сестра Саша поразительно выделялась между всеми своим развитием и образованием. Очевидно, природа щедро одарила ее умственными способностями, но несомненно и то, что покойный отец сумел дать сильный толчок их развитию. И вот после его смерти Саша, как и остальные члены моей семьи, была брошена на произвол судьбы. Нюту, хотя она была старшею из сестер, это не тревожило, только одна Саша вполне сознательно почувствовала весь ужас остаться без дальнейшего образования. После смерти отца она начала перечитывать книги, оставшиеся после него, но его библиотека была сильно растеряна при нашем переселении, да к тому же большую часть его книг сестра не могла еще понимать в то время. Вследствие этого она бросилась на изучение корпусных учебников брата Андрея, но тут она еще чаще становилась в тупик. Так как у Андрюши явился обычай незаметно исчезать из дому, Саша с утра садилась в комнату подле окна, выходившего во двор, чтобы задержать его, когда он будет уходить. Как только он показывался, она бежала к нему, умоляя его объяснить ей то или другое непонятное для нее место. Но он редко исполнял ее просьбу; чаще всего с деланным ужасом он вскрикивал: «Несчастная, тебя прозовут синим чулком!» или: «Убирайся к черту, – я сам ничего не знаю!»

Покойный отец всегда говорил матери, что Саша в высшей степени талантливая девочка, что она проявляет необыкновенную понятливость и делает блестящие успехи в учении и музыке. В период нашей городской жизни она училась у отца и учительниц и, кроме родного языка, свободно читала, писала и порядочно говорила по-польски и по-французски; кроме того, у хорошей музыкантши брала уроки музыки, к которой чувствовала сильное влечение. После нашего переселения в деревню она не только не могла продолжать своего образования, но ей не к кому было обратиться и с каким-нибудь вопросом: матушка была до невероятности завалена делами по сельскому хозяйству; к тому же Саша по своему умственному развитию в то время, вероятно, далеко опередила ее. Под руководством отца она уже прочла на трех языках очень многие произведения классиков и усердно упражнялась в письменных сочинениях на этих языках. Матушка же получила поверхностное институтское образование и не могла много воспользоваться знаниями отца, так как у нее почти каждый год увеличивалась семья.

Потеряв отца, которого Саша страстно любила, и оставшись без руководителя в занятиях, к которым она чувствовала такое влечение, она, еще недавно такая оживленная и веселая, сделалась мрачною, нервною и раздражительною: от своих книг она то и дело бежала к фортепьяно, долго и упорно разбирала какую-нибудь пьеску, но вдруг разражалась истерическими рыданиями и бросалась на постель. Матушки никогда не было дома, и если кто приходил утешать ее, то это была только няня.

– Деточка, деточка! что это ты так надрываешься? Ведь ты еще не очень большая, – всему ужо успеешь научиться…

– Да… если бы папа был жив!.. Маменька и не думает обо мне… – Тут рыдания снова начинали ее душить.

В этот период нашей жизни, следовательно, когда Саше было лишь тринадцать лет, она начала вести дневник и не оставляла его почти до самой смерти; он состоял более чем из сорока толстых тетрадей в четверку, но она часто по месяцам не дотрогивалась до него. В продолжение всей ее жизни никто никогда не знал о том, что она ведет дневник. Все привыкли видеть ее за книгами или с пером в руке, и никто в доме не интересовался тем, что она читает и пишет. Обыкновенно говорят, что в провинции каждому известно все о другом. Это совершенно верно, но в то же время человек неболтливый и желающий что-нибудь скрыть прекрасно мог это сделать. Вероятно, Саша никогда не скрывала того, что она ведет дневник, но и не болтала об этом уже потому, что занималась им исключительно для себя по совету покойного отца, которого она восторженно обожала, память которого боготворила до последних дней своей жизни. Как бы то ни было, но ее дневник нашли только после ее смерти, да и то совершенно случайно.

Хотя Саша в первых своих дневниках прибегала к высокопарным и искусственным выражениям, но они постепенно исчезают. В них даже в ранний период ее жизни ясно отразилась ее душа. То в наивном, то в сентиментальном, а порою и в глубоко трогательном лепете этой девочки-подростка рано начали сказываться незаурядные способности, значительное, преждевременное для ее лет умственное развитие, необыкновенная пытливость ума и любознательность, страстное стремление к знанию. Нужно помнить, что этот дневник она вела в то отдаленное время, когда на образование женщины совсем не обращали внимания. В дневнике со всею силою выступает и ее любящая натура, ее глубокая тоска о потере обожаемого отца, но, вследствие невозможности найти удовлетворение высшим запросам ума и сердца, очень рано начинает сказываться какая-то меланхолия. С годами пессимистическое настроение все усиливается. Она описывает некоторые события нашей деревенской жизни, свое вступление в пансион, воспитание в нем, свои знакомства и разговоры с различными людьми; изложены в нем и ее рассуждения по поводу прочитанных ею книг и романов, посещение деревни во время каникул, окончание курса, ее мечты и надежды, гувернантство, затем вступление в качестве учительницы в только что основанную тогда гимназию в городе С‹моленс›ке, частные уроки, которые она давала в громадном количестве.

Саша начала вести дневник приблизительно в тринадцать лет; я говорю «приблизительно», потому что многие из ее записей не имеют ни числа, ни года, но о времени их можно судить по изложению тех или других событий нашей семейной жизни в деревне. Вот начало ее дневника:

«Почему я должна, непременно должна писать дневник, и буду это делать до самой смерти, если я проживу сто лет и даже более? А потому, что недели за полторы до кончины незабвенного моего родителя он взял с меня слово, что я буду это делать. Все, что он говорил тогда, я сейчас же записала, показала ему, а он не только кое-что мне поправил, но и добавил новые мысли. С благоговением наклеиваю эти странички с собственноручными его поправками, дабы освятить мой дневник, дабы всегда носить в моем печальном сердце все, что он говорил, помнить и исполнять все, что он желал».

Вот что он сказал мне тогда: «Шурок, начинай-ка ты вести свой дневник; писать в такое время, когда ты притомишься от занятий, – нет резона; садись за него в свободное время, записывай все, что с тобой случилось, что ты делала, что слышала, что думала, кого встречала, с кем разговаривала, – одним словом, заноси в свою тетрадь все, что тебя порадует, удивит, опечалит или наведет на резиньяцию[15]. Но если жизнь твоя за протекшие дни не даст ничего ни для эмоций, ни для резиньяции, то ты кратко изложи все, что удалось тебе прочесть, а к сему присовокупи свое собственное суждение. Все сие, дорогое мое дитя, очень пользительно для тебя: самой любопытно будет узнать, что с тобою было прежде, с кем зна-

[15] Здесь: размышление (от *франц.* resignation).

лась, что видела, какое обо всем суждение имела, что читала. Оное научит тебя излагать мысли, а к сему у тебя натуральная склонность, всякое же дарование необходимо совершенствовать, а не зарывать в землю. Сие будет приучать тебя, дитя мое драгоценное, внимательнее к людям приглядываться, к разговорам их прислушиваться, – хорошему в них подражать, а за худое не осуждать, не пускать ходить по людям для злословия подмеченное тобою, а крепко про себя держать. Писание дневника еще должно приучать тебя все глубже погружаться в недра своей души, дабы отыскивать причины причин – не только дурных поступков своих, но и недобропорядочных побуждений. Познав без пристрастия самое себя и своего ближнего, ты будешь строга к себе, незлобива и великодушна к другим, и отринется сердце твое и помыслы твои от бабьей суетности, мелочности и пустячного времяпрепровождения вроде сплетен и злословия вообще, от всего того, к чему столь привержен женский пол. Ты пристрастие имеешь к серьезному мышлению, к серьезной книге: постарайся превратить сие пристрастие в потребность твоей природы, вроде как к еде и к другим потребностям человеческого организма. Изложение прочитанного останется лучше в памяти, но все сие, однако, не должно служить поводом к пренебрежению женскою прелестью, то есть скромностью и душевною мягкостью, одним словом, тем, что называется женственностью, при утрате коей девице дают наименование „синего чулка“. Таковая особа воистину жалка: прочитав несколько страниц знаменитого творения и не углубившись в его сущность, она с легкостью сердца трактует о нем и даже мнит себя великою ученой, ставит себя превыше облаков ходячих, дерзновенно записывает себя на одну доску с великими учеными и поэтами, а сердце ее остается каменным, не трогается состраданием к людям, не имеет привязанности, внешний же облик и манеры становятся резкими, грубыми и возбуждают во всех насмешку и отвращение».

Родитель мой бесценный, свет очей моих! Твоя воля для меня священна, не забуду ее до конца живота моего! Но почему ты возложил на меня столь легкий завет, наклонный для одной моей пользы, веселию души и преуспеянию? Я бы хотела, чтобы исполнение твоего завета было для меня тяжко, чтобы я выполняла его с стенаньем, с телесною болью и страданиями, как христианские мученики и подвижники, бо я люблю отца моего больше жизни моей. (Сестра в первых своих дневниках вместо слов «потому что» или «так как» нередко употребляла «бо», вероятно потому, что она говорила и читала с отцом не только по-русски, но еще чаще по-польски; однако постепенно это выражение исчезает.) Обожаемый мой папашечка, фиал души моей, самый большой мой благодетель! Почто, почто нет больше тебя? Почто я столь несчастна в жизни сей, и без оного печальной? Почто я лишена тебя, моего руководителя? Ушел ты туда, где нет ни слез, ни воздыханий, и моя жизнь, пролетавшая, как сладкий сон, сделалась одним несчастием. Ты оставил нас, детей своих, сиротами злосчастными, – и, увы, увы, я не буду более наслаждаться сладостью твоих речей! Ты все унес с собою – мое сердце, мои упования, мои надежды, – бо вместе с тобой исчез свет моих очей! Ты, как красное солнышко, согревал, оживлял, освещал жизнь твоей семьи! Закатилось оно – и на меня отовсюду веет смрадом и хладом сырой могилы… Но хотя тебя и нет со мною, всем сердцем любимый отец, я вижу, слышу, чувствую тебя всегда и везде со мной, в каждом биении моего сердца, в каждой мимолетной моей думке: к тебе летит мой первый вздох, когда я пробуждаюсь, на тебе останавливается мое помышление, когда я засыпаю… Как явственно порой раздается твой голос: «Шурок, почитай мне Мицкевича!», «Шурок, напиши на память сценку из „Тартюфа“!», «Шурок, подучи свою роль!» О, папашечка! с твоею смертью все для меня погибло: и науки, и театр, и музыка, и всякое учение!.. Злой рок на своих скрижалях огненными буквами начертал для меня одно слово: «Погибни!» Да, мне суждено погибнуть, и как жалко, безвестно погибну я, – погибну, как ничтожная придорожная былинка! Иначе и быть не может! Кто без тебя в этой глуши поможет мне своим советом, кто без тебя будет руководить моими занятиями? Мне и в городе помещики в голос твердили: «Зачем девушке

учиться?» Но мой отец, который был самый образованный, самый умный, самый лучший в мире человек, всегда говорил, что учиться необходимо всем без исключения. Папашечка не раз рассказывал мне, что уже в древности были ученейшие женщины, и все их уважали. Если бы он, мой обожаемый отец, был жив, и я, может быть, сделалась бы ученою. Все знать, все понимать – какое счастье! Но что я буду делать теперь одна? Папашечка объяснял мне каждый день что-нибудь новое, и мои познания умножались. А теперь? Кого буду вопрошать? Мысли мои без моего драгоценного руководителя, как песок при ветре, производят в моей голове неистовый ураган и приносят не усладу моему уму и несчастному сердцу, а горечь и боль мученическую… На днях расчесываю волосы в темноте, и вдруг какие-то искры сыпятся!.. Отчего они происходят? Андрюша как-то показывал нам фокус: взял бумажную коробку, налил в нее воды, поставил на проволочную решетку и стал согревать воду в бумажной коробке над свечкой… Отчего не загорелась бумага? Но еще гораздо более мучает меня религия, я даже не знаю, не грешно ли иметь о ней такие дерзновенные мысли, какие мне приходят в голову? О боже, если это грех, прости мое согрешение! С тех пор как моя семья лишилась своего защитника и покровителя, обожаемого отца, я постоянно вопрошаю себя: отчего, если бог всеблагий, всемилостивый, всеправедный, он наслал на нас такое страшное горе, как смерть отца? Если его благость, справедливость и милосердие велики, то как же он оставил нас без отца? Няня твердит, что несчастия ниспосылаются нам для испытания, но разве можно испытывать таких детей, как моя маленькая сестра и мой брат? Они не будут роптать на это несчастье только потому, что разумом не постигли всего ужаса нашего несчастия, не понимают, какое великое значение имеет образование ума, не смыслят, сколь это сладостно и отрадно для сердца! Сей кощунственный, богохульный вопрос, как отравленная стрела, порождает в моей голове множество других ропотов сердца и дерзновенных дум. «Если бог всемогущий, – сказываю я самой себе, – зачем он допустил ропот сердца моего, зачем он вселяет в меня неверие, зачем он сделал меня такою, что я до безумства желаю образованности, получить коей не могу, почему только в книгах я почерпаю отраду, а сестра моя Анна вполне счастлива, когда может рисовать цветы, вышивать, стряпать? Если такие вопросы преступны, зачем милосердный, справедливый бог не заставит их умолкнуть в моем сердце? О, неужли я и за это буду наказана уже в сей жизни?»

«Сегодня воскресенье, – пишет сестра в одной из последующих частей дневника. – Перед обедом к нам пришел в гости батюшка. Вдруг слышу из соседней комнаты, как он говорит про папашечку: „Известно, что покойный Николай Григорьевич в церковь почитай совсем не хаживал, не выполнял он и наших православных обычаев. Эта, можно сказать, преступная склонность покойного проистекала из того, что родная его матушка была не нашей, а католической веры, не могла она привлечь его сердце к православию, а может, и злоумышленно отвращала его от усердия к нашей вере“. А как мамашечка прелестно ему ответила, – я так гордилась ею в ту минуту: „Обрядов мой покойный муж не выполнял, но зато он по духу был настоящий христианин и самые христианские чувства внушал своей семье даже к рабам“.

Только что услыхала я мамашечкин ответ, как стала себя вопрошать, был ли папашечка мой религиозным, верил ли он в бога? Вдруг мне вспомнилось, как в последнюю пасху он сказал мамашечке: „Дай мне того кулича, который не святили“. Но тут мои родители увидали, что я вошла в комнату, и замяли разговор, верно поразмыслив про себя, что он не подходящий для моего младого возраста. Очень бы мне хотелось знать, почему папашечка никогда не ходил в церковь? Почему избегал куличей, окропленных водою, освященною нашею православною церковью? Почему он учил нас всему, а только закону божьему обучала матушка? Почему, когда священники служили у нас молебен, он уходил из дому? Если ты, мой родитель, умнейший человек во всем мире, не верил, значит, ты умом своим великим постиг, что в вере нет премудрости, что она – удел слабых голов, которые без оной не знают,

что худо, что хорошо. Но может статься, что на сии вопросы ты дал бы мне совсем иные пояснения? Если я, по младости лет, глупое рассуждение имею, если неверие охватывает мою душу по неразумию, боже великий, боже милосердый, сделай мое мышление правильным, не допускай меня до греха и богохульных умствований.

У нас сегодня знаменательное происшествие, всколыхнувшее мое несчастное, печальное сердце до глубины его дна. Только что мы кончили обедать, как приехал верховой от наших соседей Воиновых и подал матушке письмо от Натальи Александровны, в котором она писала, что завтра уезжает в П‹оречье›, а так как в ее тарантасе много свободного места, то она приглашает с собою матушку или просит отпустить с нею одну из ее дочерей. Матушка уже взяла бумагу, чтобы написать отказ. Вдруг я не помня себя бросилась к ней, стала целовать ее руки и умолять ее отпустить меня в город, чтобы посетить могилку папашечки, моего возлюбленного, убрать ее цветами. Как только я проговорила это, у бедной мамашечки сразу потекли слезы ручьями, она ничего не могла ответить, а быстро встала из-за стола и ушла в свою комнату. Няня пошла за нею и, возвратившись, сказала, что мамашечка отпускает меня с Воиновой.

Отец, почитаемый всею моею душою, всем моим помышлением, каждым дыханием моего сердца! Я припаду наконец к твоей могилке, которую освятил твой священный прах! Родной мой, кровный батюшка, молю тебя, исполни просьбу твоей несчастной сиротки: когда я паду ниц на твоей священной могиле, дай мне весточку, пошли какую-нибудь примету, либо самое ничтожное знамение… Сие оповещение пришли мне либо через птичку-певунью, либо через свист ветра буйного, либо через кукушечку-вещунью… Через самое маленькое знамение я узнаю, что ты советуешь мне делать с собой. О, отец мой драгоценный! шепни своими священными устами, хотя так тихо, как дуновение легкого зефира, – я все услышу, я пойму, что ты хочешь мне сказать: ведь ты всегда хвалил и мой тонкий слух, и мое быстрое понимание! Только от тебя я жду ответа, остаться ли мне навеки в Погорелом и пропадать без всякого образования, или лучше уж заключиться мне в монастырь, чтобы в стенах обители священной отмаливать мои прегрешения и мои преступные, богохульные, дерзновенные мысли, мой ропот, который в недрах сердца моего все усиливается на господа бога за то, что он отнял тебя у нас, сделал нас горемычными сиротами?»

Недели через полторы после отъезда Саши в город к нашему крыльцу подъехал тарантас Воиновых. Матушка, возвращавшаяся с поля, первая подошла к нему, но скоро и мы все выбежали на крыльцо. Саша с рыданиями бросилась к матери и переходила из одних объятий в другие, точно она передавала поклоны и переносила весточку каждому из нас от дорогого покойника, – все плакали, плакала и я, потому что плакали другие. Наталья Александровна Воинова говорила матушке, что она до сих пор не видала, чтобы девочка таких лет, как Саша, могла так убиваться о покойном отце. По ее рассказам, сестру ничем нельзя было развлечь в городе, и она с утра бежала на кладбище, где и оставалась до тех пор, пока силой не уводили ее оттуда. Ее каждый раз заставали распростертою на земле или коленопреклоненною и всю в слезах.

Саша рассчитывала посещением могилы облегчить свое горе, а между тем ее то и дело заставали теперь в слезах, она заметно худела и ходила какая-то растерянная.

Грусть Саши раздирала сердце няни: благоговейно сохраняя в памяти просьбу отца быть нам второю матерью и любя нас, его детей, как своих собственных, она ломала голову, как и чем помочь сестре. Хотя на образование она смотрела так же, как и помещицы того времени, что если «девушка не приспособлена к царской службе», то ей незачем и учиться, но при этом няне приходила в голову мысль, что если этого желал покойник, значит, так и должно быть. «Ведь он хотя и обожал всех своих детей, но Шурочку выделял изо всех, – значит, находил, что она перстом божиим для науки отмечена, так ее и следует по этой линии

вести. А как же быть-то? Ведь матушку Александру Степановну хозяйство задавило, вот о Сашеньке и подумать-то некому…»

Ничего не понимая в деле образования, не зная даже, в каких заведениях обучают дворянок, няня старалась добиться этого от самой Саши. Затем в один из воскресных дней она под каким-то предлогом отправилась к Наталье Александровне Воиновой, так как она и моя матушка считались в нашей местности самыми образованными дамами, и к тому же ей очень нравилась гувернантка Воиновых. Чтобы набрать побольше сведений относительно образования сестры, она не ограничивалась только расспросами Воиновых, но обращалась ко всем, к кому могла. Так как она прославилась своею трогательной; преданностью нашей семье и считалась после матушки одним из главных ее членов, и к тому же сама по себе внушала доверие и знала, как к кому подойти, с нею рассуждали весьма охотно. Из этих разговоров она поняла, что плата в существующие пансионы настолько велика, что не по карману матушке, а попасть на казенный счет в институт трудно, да и Саша, пожалуй, уже вышла из лет. Вот она и надумала написать прошение царю-батюшке. Ей казалось, как она впоследствии передавала нам, если с толком расписать все как следует, рассказать царю, сколько бедствий претерпела матушка, оставшись вдовой, указать ему на то, что она не имеет никаких средств и выбивается из сил, чтобы добыть кусок хлеба для сирот из своего маленького хозяйства, умолять его взять Сашу на казенный счет или на свое иждивение в учебное заведение и при этом указать ему на то, что сам покойник говаривал, что у нее на редкость богатые способности (а всему миру известно, что покойник был ума – палата), то такая просьба непременно будет уважена. На исполнение этой просьбы она надеялась и потому, что «Саша – настоящая столбовая дворянка и к тому же, как только царь-батюшка сам увидит ее (она не понимала, что государь и без этого может принять ее на свой счет), то так поразится ее умом, что приблизит ее еще к своим детям». Она долго никому не говорила о своем плане и не приступала к его выполнению только потому, что не умела письменно изложить своих мыслей и писала каракулями. Наконец она решилась, как на духу, во всем признаться священнику нашего прихода и просить его написать такое прошение. Хотя няня считала его человеком обходительным, но так как в то время ни одна услуга не оставалась без вознаграждения, то и она считала невозможным прийти с пустыми руками. Но что могла она предложить? Жалованья она не брала, кроме гривенников на заздравные и заупокойные просфоры, а теперь она даже и этим не тревожила матушку, находя ее положение и без того чрезвычайно тяжелым. Ей, однако, удалось выйти из этого затруднения: одна из ее многочисленных деревенских кумушек как-то подарила ей вышитое полотенце, вот она и решила отнести его батюшке, но находила, что этого еще маловато для такого почтенного лица, и упросила нас подарить ей по цыпленку, не расспрашивая ее о том, что она с ними сделает.

Нужно заметить, что, когда в хозяйстве появлялся жеребенок, теленок, цыплята и другие домашние животные, кто-нибудь из нас, детей, очарованный новым пришельцем в божий мир, упрашивал матушку подарить ему его. Она охотно исполняла такую просьбу, так как знала, что этот подарок не только останется в неприкосновенности в ее хозяйстве, но получивший его в дар будет особенно заботиться о нем. У нас с Сашей было по наседке с цыплятами. Когда после обеда принимали со стола кушанья, мы осторожно снимали скатерть, стряхивали с нее крошки, подбирали в кухне шелуху от картофеля и яичную скорлупу и все это несли своим курам. Мы с Сашею были в восторге, что могли что-нибудь подарить няне.

Каково же было ее удивление, когда священник стал доказывать ей, что такое прошение не будет иметь никакого значения, что наш покойный отец имел маленький чин и что царь не имел о нем ни малейшего представления. При этом он выразил крайнее удивление, что матушка не попросит своих братьев о том, чтобы они как-нибудь похлопотали устроить Сашу в какое-нибудь учебное заведение. Как это ни странно, но такая простая мысль до тех

пор никому из домашних не приходила в голову, и совершенно посторонний человек первый ее подал.

Будучи уже взрослой и слушая рассказ матушки о том, как няня придумывала всевозможные планы для того, чтобы избавить Сашу от отчаянной тоски из-за невозможности получить образование, мне так и хотелось ее спросить: «Как это вы, женщина все же образованная, двадцать лет прожившая душа в душу с человеком, горячо любимым вами, который придавал огромное значение образованию, в такой степени ушли в свое хозяйство, что всю заботу о ваших детях свалили на плечи няни, правда идеально честной и любящей, но совершенно необразованной?» Но если бы в то время я так просто спросила ее об этом, это могло бы ее уязвить. А потому мне и пришлось задать тот же вопрос, но приблизительно в такой форме:

– Ах, бедная мамашечка, до чего вы должны были страдать из-за того, что хозяйство не оставляло вам времени подумать даже о Саше!

– Вот в том-то и странность, – отвечала матушка, просто и легко сознававшаяся во всех своих недостатке, – что я от этого даже и не страдала…

Я так ушла в хозяйство, что так-таки ни о чем другом и не думала. Когда няня пришла от священника и стала говорить мне о том, что следует братьям написать о Саше, что она худеет и бледнеет от тоски, – она точно хлопнула меня по башке!.. Взглянула я на Сашу и пришла в ужас от того, как она изменилась!.. А ведь я каждый день видела ее, да как-то не останавливалась на этом… Я и сама много раз думала о том, чтобы написать братьям, да все как-то откладывала… К тому же и гордыни большой я была преисполнена. Ну, а тут уж думаю: «Что за спесь, когда нечего есть!» К тому же я решила не о вспомоществовании их просить, а только о том, чтобы они дали мне совет насчет образования Саши и, если можно, похлопотали бы устроить ее куда-нибудь на казенный счет.

Потеряв всякую надежду на продолжение своего образования, Саша все более становилась грустною и раздражительною. Однажды няня посоветовала обратиться ей со своими недоразумениями к священнику, предлагая ей проводить ее к нему. Саша оживилась, взяла с собою несколько книг, переложенных закладками, и мы втроем отправились в село.

Священник принял радушно, нас усердно угощали, а затем попадья привела целую ораву своих ребят, чтобы играть со мной. Но меня трудно было оторвать от няниной юбки, и я вышла на двор только тогда, когда она пошла туда со мной. Саша осталась вдвоем со священником. Когда она затем вышла с ним на крыльцо, она была мрачнее тучи. Няня стала торопливо прощаться с хозяевами.

Мы долго шли молча: няня ни о чем не расспрашивала Сашу, вероятно боясь вызвать ее слезы, но когда мы у дороги присели отдохнуть и няня положила руку на ее голову, она горько разрыдалась. В ту же минуту вблизи послышался стук колес и показалась карафашка (так называли у нас простую тележку, несколько приноровленную к матушкиной езде). Возвращаясь с поля домой и заметив нас, матушка приказала кучеру остановиться и взяла нас с собою. Несмотря на полное отсутствие наблюдательности относительно своих детей, матушка заметила, однако, заплаканные глаза сестры. Няня тотчас объяснила причину нашего посещения священника. Саша на этот раз была, должно быть, в нервном состоянии, так как стала более резко, чем это было в ее натуре, указывать на то, что со смертью отца никто не думает об ее учении, что вследствие этого она и обратилась к священнику; он растолковал ей лишь несколько арифметических задач, которые она не могла решить самостоятельно, но когда она стала просить его объяснить ей кое-что другое, отмеченное ею в книгах, он отвечал ей, что девочке вовсе не требуется иметь столько познаний, что она знает больше, чем необходимо знать взрослой девушке, что над учеными женщинами все смеются. При этом она добавила, что и Андрюша смеется над ее учением, называет ее «синим чулком».

– Андрюша – шалопай, а поп – дурак… – перебила ее матушка, наклонная к кратким и сжатым характеристикам. – Чем больше будешь знать, тем больше будешь денег получать… Ведь тебе весь век придется ходить по гувернанткам!

В то время матушка на все смотрела с утилитарной точки зрения: «Учись – больше денег заработаешь», и нотации вроде следующих раздавались у нас то и дело: «Ведь ты несчастнее деревенского пастуха: тот пасет свиней и за это его кормят… А когда вы повырастете, у нас и свиней не останется… Должны хорошо учиться, чтобы самим заработать свой хлеб». Если кто-нибудь из нас высказывал за обедом, что ему не понравилось то или другое кушанье, или просил о том, что матушка находила лишним, ее гневу не было предела, и она резко бросала нам: «нищая», «нищие», «нечего нос задирать!»

Мы слишком боялись матушки, чтобы когда-нибудь протестовать против ее эпитетов, которые нас страшно раздражали в детстве. Андрюша хотя и был ее любимцем, но, более сестер проникнутый духом непокорности и задора, часто в глаза говорил ей с подчеркиванием: «Мы в этом не виноваты!» А за ее спиной выкрикивал и более резко: «Чего это она нас вечно нищенством попрекает? Ведь она же сама с отцом наше состояние профершпилила, а мы виновными оказываемся!» Саша никогда не спускала ему этой дерзости и с раздражением кричала на него: «Не смей так говорить про отца! Наш отец был чудный человек, лучше всех, всех на свете!» Но матушку и она не брала под свою защиту.

Будучи взрослыми, мы с иронией вспоминали при ней о многих ее педагогических приемах и, между прочим, спрашивали ее, почему она так часто с бранью называла нас нищими, говорили ей, что это нас крайне оскорбляло. Но она и впоследствии находила этот прием целесообразным, объясняя, что делала это для того, чтобы заставить нас не стыдиться бедности, которую бедняки того времени скрывали, как позор и преступление, что таким напоминанием она хотела нас заставить учиться и работать как можно прилежнее, чтобы выйти на самостоятельную дорогу. «И была права, – прибавляла она. – Вот вы и вышли работящими и самостоятельными…» Но мы никогда не могли согласиться с этим: ее упреки лишь без нужды раздражали нас и вместе с другими неблагоприятными условиями нашей жизни делали наши отношения к ней в детстве все более холодными, все более ослабляли семейный элемент.

Матушка, как было уже сказано, не требовала от сыновей, чтобы они не опаздывали к общей трапезе. И мои братья скоро стали злоупотреблять этим: они часто не шли на зов к обеду даже тогда, когда слышали, что их звали, и куда-нибудь прятались, чтобы их нельзя было найти. Они признавались впоследствии, что обедать и ужинать в семье в первые годы после смерти отца было для них настоящей пыткой: матушка приходила с поля усталая и сонная и выражала большое нетерпение к проявлению живости детей за едой. А если они начинали еще спорить между собой, дразнить друг друга, ссориться, она гневным окриком выгоняла из-за стола провинившегося.

Оправданием матушки в отсутствии материнской нежности и отчасти даже заботы о детях могли служить ее чрезмерная работа по хозяйству и ежедневная крайняя усталость. Она, как и крестьяне, вставала с рассветом и отправлялась наблюдать за полевыми работами, переходила с одного поля на другое, с одного луга на другой, а осенью шла в овин, где происходила молотьба, из овина направлялась на скотный двор. В то же время она присматривала и за мельницею, и за постройкою, если она производилась, ходила даже в лес, если там рубили дрова. Она возвращалась домой обедать в такое же время, как и крестьяне; как и они, она ложилась отдыхать после обеда, и ее должны были будить в тот же час, когда рабочие опять отправлялись на работы. Итак она проводила свое время изо дня в день, оставаясь дома только по праздникам, когда она занималась «канцелярскою работою». Наблюдая с утра до вечера за всеми сельскохозяйственными работами, она, присев где-нибудь у поля, заносила в свою тетрадку всевозможные наблюдения и о том, сколько возов сена свезено с

такого-то луга, сколько копён ржи сжато с поля, кто и как работает из крестьян, то есть скоро или медленно, добросовестно или небрежно. Тут же, узнав от крестьянина о его семейном и материальном положении, она записывала и это сведение, а затем проверяла показаниями других крестьян и сама заходила в избу. Собранные за неделю сведения она в праздники разносила по рубрикам и эту работу называла «канцелярскою».

В высшей степени тщательное ежедневное наблюдение над работою крестьян, знакомство с каждым из них, точные записи хозяйственных сведений и соображений дали ей возможность основательно ознакомиться с сельским хозяйством и хорошо узнать не только материальное положение своих подданных, но отчасти их характер или, точнее сказать, работоспособность каждого, что для матушки важнее всего было в человеке: работящему крестьянину она старалась помочь, внимательно и сочувственно относилась к его тяжелому положению; зато к пьяницам и нерадивым она выказывала полное презрение, как к существам, только напрасно бременящим землю, приносящим вред ее хозяйству и лично оскорблявшим ее своим существованием.

Домашним редко приходилось разговаривать с матушкой по будням, и второстепенные дела она откладывала до воскресенья: когда к обеду в этот день она кончала свои «канцелярские» занятия, она была вполне свободна, и няня с нетерпением ждала этого времени, чтобы обсудить вместе с нею различные вопросы по домашнему хозяйству. Чаепитие, во время которого в других семьях члены семьи болтают между собой, у нас после переселения в деревню было уничтожено за неимением средств тратить деньги на покупку чаю. Вместо него у нас пили молоко, но для этого не собирались к столу, а каждый садился где попало, мог пить его сколько угодно и когда угодно. Что же касается обедов и ужинов, то они проходили у нас очень быстро, и во время их няне немыслимо было разговаривать о делах: ей часто приходилось вставать из-за стола, чтобы принести то одно, то другое из кладовой или погреба, а по окончании еды матушка торопилась отправиться спать.

Как только наступало свободное воскресное время, няня прежде всего докладывала матушке о том, чего не хватает в хозяйстве, что подходит к концу или чего «маловато», что необходимо купить сейчас же и с чем можно «обождать». Совместное всестороннее обсуждение чуть не каждой статьи домашних запасов всегда кончалось вопросом со стороны матушки, нельзя ли упразднить из домашнего употребления или, по крайней мере, сократить то или это. После смерти отца наши расходы были доведены до minimum'a: чай, кофе, варенье, пирожное, сладкое – все это было изгнано с нашего стола. Чай, кофе, варенье подавали только гостям, но матушка не скрывала своей бедности, не старалась показывать кому бы то ни было, что мы-де всегда так пьем и едим. Напротив, она напрямик заявляла: «Я ведь теперь не большая помещица, не важная барыня: ежедневно не приходится распивать чаи и кофеи, – держу их только для дорогих гостей».

В те жестокие времена, когда бедных так открыто презирали, когда каждый бедняк старался казаться богатым или, по крайней мере, не столь обездоленным, каким он был в действительности, когда каждый давал почувствовать другому и выставлял свое дворянство, когда труд для дворянина считался позором и был достоянием только рабов, матушка, будучи столбовою дворянкой по мужу и отцу, особа «с языками и манерами», как говорили про нее, не только не конфузилась своей бедности, но всегда проводила мысль, всегда говорила своим детям и посторонним, что каждый должен трудиться, выказывала презрение к шалым затеям помещиков и к их ничегонеделанию. Вот это-то качество, а также и то, что к старости она становилась все более гуманною и не на словах, а на деле искренно полюбила простой народ, резко выделяли ее из той среды, в которой она вращалась. Все это в конце концов снискало ей глубокое уважение ее детей, которые в детстве, лишенные материнских ласк и забот, нередко испытывая на себе последствия ее властного, вспыльчивого характера, относились к ней с полным индифферентизмом, а подчас с обидой и раздражением. Те же качества снискали ей

впоследствии любовь и уважение наших молодых друзей, которых мы привозили гостить к ней и с которыми она любила вести споры и разговоры. Когда она приобрела опытность в хозяйстве и заботы о нем уменьшились, она начала много читать. Это дало ей возможность поддерживать серьезный разговор, что крайне поражало наших знакомых, встречавших в такой захолустной деревне, как наша, образованную женщину. Демократизацию ее идей не трудно объяснить: она была слишком деловита по натуре, чтобы бросить на произвол судьбы расстроенное хозяйство, оставшееся на ее плечах после смерти горячо любимого мужа. Один только труд давал ей забвение в годы тяжких бедствий и лишений, и потому она становилась все более страстною его поклонницей. Но в тот период жизни, о котором я говорю, она исключительно думала о том, как бы что-нибудь выгадать из своего жалкого и запущенного хозяйства, как бы уменьшить домашние расходы.

– Уж как у нас сахарного песочку маловато, – говорила няня, когда она наконец получала возможность переговорить с матушкою о домашних делах. – Давно ли из города пять фунтиков привезли, а ведь осталось не больше двух стаканов…

– Так, верно, сама же ты все на детей скормила?

– Как же это, матушка! – обиженно восклицала няня. – Я и серенки (спички, которые употреблялись в то время) даром не растрачу: стараюсь с уголька зажигать… И вдруг сахарный песок…

– Да, ты все бережешь, ну, а сладкое то и дело суешь детям: ни пирожных, ни конфект в доме нет, вот ты и всыпаешь им в кушанье больше, чем нужно, сахарного песку. А я вот что тебе скажу: к простокваше, пожалуй, подавай его по-прежнему, ну а к ягодам больше ни-ни, – они и без того сладкие.

– Барыня матушка, ну хоть для праздничков позвольте оставить… Ведь наши-то дети еще такие крошки!

– Да… трудно с тобой что-нибудь сокращать в хозяйстве, – с сердцем возражала матушка. – Продолжай… много ли у нас крупчатки?

– Только что перевесила: всего десять фунтов осталось.

– Десять фунтов! Но ведь это же ужасно! В прошлый месяц два пуда вышло, и в этот, значит, будет то же!

– Да ведь крупчатка-то она всюду: она и на булки, она и на пироги, и на клецки, и в соус ее же подсыпешь…

– Ладно, ладно… так вот что: конец белым булкам, да и все тут! С этих пор мы все будем есть только черный хлеб. И это пречудесно: у нас хлеб хорошо пекут!

– А как же!.. – только воскликнула няня, но уже остальных слов она не могла выговорить: крупные слезы текли по ее щекам.

– Стыдно тебе, няня, очень стыдно! Почему ты думаешь, что наших детей необходимо нежить да к барским затеям приучать? Лучше благодари бога, что богатство и баловство не сделают их лоботрясами!..

Несмотря, однако, на изгнание с нашего стола почти всего, что более или менее зажиточные дворяне находили необходимым, мы, дети, вспоминали только об отсутствии у нас сладкого, которого так много подавалось при отце. Матушка не была скупа на домашние сбережения; у нас всегда был сытный и хороший стол, но она строго придерживалась одного – чтобы все, что мы пьем и едим, было по возможности добыто из собственного хозяйства: прежде чем что-либо купить для дома, хотя бы буквально на грош, это долго и серьезно обсуждалось как матушкою, так и нянею.

– Ну, про какую корову ты хотела со мной поговорить? – спрашивала матушка, и разговор переходил на другую тему, более для нее интересную, то есть на сельское хозяйство, которому она придавала огромное значение, а домоводство было на руках няни, и она вмешивалась в ее дела в самых крайних случаях. Няня просила дать корову Игнату и излагала при-

чины, почему это необходимо: его собственная корова пала от бескормицы прошлого года, а в семье его несколько молодух, и У каждой дети. Затем она просила дать леску Пахому Для починки его хаты: у него сгнила крыша и давно протекает. Матушка знала всю основательность няниных просьб и сама считала необходимым улучшать положение своих подданных, так как она прекрасно понимала, что ее хозяйство находится в полной зависимости от благосостояния крестьян, а потому почти всегда исполняла подобные просьбы, справившись предварительно со своею записною книжкою. Она отказывала только тогда, если в ее записях значилось, что крестьянин не особенно ретив на работу и, боже упаси, запивает. В тот период времени матушка еще не успела разобраться в том, что леность, нерадивость и пьянство были результатом вековой беспросветной жизни крестьян, что, наказывая несчастного, она совершала большую несправедливость, особенно по отношению к членам его семьи.

Матушкино хозяйство приходило все в больший порядок, и этому содействовали не только ее неустанные хлопоты, но и заботы няни. Ее сердечная доброта и искренняя жалостливость ко всем несчастным уже давно снискали ей доверие и уважение крестьян. Зная, что матушка стремится к улучшению их положения, но не в состоянии сразу помогать многим, няня употребляла все силы, чтобы указывать ей на более несчастных. В продолжение всего времени, которое она прожила у нас, она каждое лето приезжала в деревню с нашим семейством, и каждое лето число ее крестников среди крестьян, а следовательно – кумовей и кумушек, увеличивалось. Не отказывалась она и от крестьянских свадеб, ходила к больным и носила им лекарства или гостинцы, вроде куска белой булки, а крестникам – рубашонки, которые она перешивала из нашего старья. В этих случаях она повсюду таскала и меня с собой: после смерти Нины она не решалась доверять меня кому бы то ни было, да я и сама ни за что бы не осталась без нее. Без няни матушке, вероятно, не удалось бы узнать всей подноготной каждой крестьянской семьи: несмотря на ее простое отношение к крестьянам, несмотря на то что она сама нередко заходила в избы, несмотря на отсутствие какой бы то ни было заносчивости и чванства, с нею, как с барынею, крестьяне все-таки стеснялись. Совсем иначе относились они к няне: в каждой крестьянской семье она была своим человеком. Хотя крестьянам было известно, что она бережет барское добро пуще своего глаза, тем не менее они были вполне уверены в том, что из-за нее никогда не выйдет никакой неприятности, что она первая усердно похлопочет за каждого из них. Но, как бы няня ни была добра к крестьянам, интересы моей семьи стояли у нее на первом плане.

– А что скажете, – спрашивала она после того, когда хозяева избы, в которую она входила, успели ее усадить на лавку в красный угол, – если бы Степана да на оброк пустить? Ведь на него, кажись, положиться можно? И господам в аккуратности предоставил бы что полагается, и свою копейку не растрясет… – Или: – А как староста Тимофей – не очень вас обижает? Сказывают, больно зашибать стал, да и на руку нечист? Правда это али враки? – Или: – Ну, а кто же, по-вашему, ныне самый работящий, самый справедливый крестьянин в Погорелом? – Вот с какого рода вопросами обращалась няня к крестьянам. Не обходились они с ее стороны и без наставлений в таком роде: – Старайтесь, милые, Христа ради старайтесь… Ведь у него-то, у покойника Николая Григорьевича, большая забота была 6 своих крепостных. Даже перед смертушкой думушку эту про вас крепко держал. Да и барыня вас не обидит, как перед господом говорю, свято будет блюсти завет покойника.

– Васильевна! – говорил однажды молодой крестьянин, напряженно прислушивавшийся к ее словам. При этом он подошел к ней вплотную, как будто желая показать и строгим взглядом своих глаз, и наступательным движением, что она должна говорить правду, только сущую правду. – Говори ты нам, Васильевна, по всей чистой совести, как, значит, он, барин-то наш, помирал… что он сказывал? Наши-то бают, что он женку-то свою, барыню нашу, дюже стращал: «Не забиждай, грит, своих христьян, чтоб они, значит, не прокляли и осиновым колом твою могилу не проткнули».

– Насчет осинового кола не поминал… Вот вам Христос – этих слов его не было! Мы с барыней безотходно при его кончине у постели стояли. Все словечки его предсмертные, как молитву, затвердила… Про вас он вот что сказывал барыне: «Не позволяй, говорит, никому крестьян твоих обижать, чтобы, говорит, жестокостей с ними не делать, пусть, говорит, из-за тебя не раздаются их стоны и проклятия!..» Вот как перед истинным, правду вам сказываю! – При этом она крестилась на образа.

– О, господи! – со вздохом произнес крестьянин. – Царствие небесное покойнику!.. Пущай ему земля легка буде! Что ж насчет нашей барыни можно сказать, – она не обиждает… ну усё же тяготы большие несем… Бедность лютая нас одолела! Почитай, кажинный год от страстной до казанской хлеб с мякиной едим да окромя щей с крапивой али щавеля до конца лета другого приварка не знаем… А таперича и его забелить нечем, – последняя коровенка околела.

– Да что, Васильевна, ты ведь к ейному семейству привержена, так все хочешь обелить!.. – заметила хозяйка. – Хоть покойник наставлял, чтоб мы слез не лили, а нам-то супротив суседских хрестьян разе в малостях каких полегче буде… Усё та же жратва, что блевотина! Барыня-то наша получше других тем, что не драчлива… Бо только, почитай, ефто в ей и есть, а свайво добра не упустит!.. Ох, не упустит!.. Не таковска! Ведь она-то день-деньской торчит на косовице али на жнитве, усё коло тебя топчется, да так во все глазыньки глядит тебе, чтобы ты, значит, попусту трошку времени без работы не осталась! Ведь дохнуть она тебе не даст! Намедни как зачнет меня кликать, да раз за разом… Подхожу, а она мне: «Что, грит, Аннушка, куды ты усё бегаешь? Почто серп бросаешь?» – «Матушка барыня, рабенок тутотка, у кустов положон… кормить его бегаю». – «А сколько яму?» – «Пятый месяц, матушка, только окромя груди ничего не примает, как соску али что ему суну, так усё и сблюет…» – «Что же, грит, надо кормить, так корми, а забавляться с им – не забавляйся, – мне со своими тоже забавляться не приходится»…

– И правду говорит, вот те Христос, правду, – утверждает няня. – Ей не до забавы! Чуть свет-то забрезжит, она уж на ногах! Так насчет коровы не сумлевайтесь, православные, – говорит няня, прощаясь с хозяевами, – выпрошу, как пить дать, выпрошу.

Няня обладала большим житейским тактом: она прекрасно знала, что она могла сообщить матушке и о чем не должна была заикаться. После одного из таких посещений она заявила ей, что староста Тимофей начинает запивать, а что самый работящий и надежный крестьянин – Лука. В первое же воскресенье его призвали к матушке: она долго с ним беседовала, а затем назначила его старостой вместо Тимофея.

Не знаю, каково было положение старосты в других поместьях, но у нас эта обязанность по количеству труда, по разнообразным заботам и ответственности была самая тяжелая сравнительно с обязанностями остальных крестьян. Староста должен был вставать раньше всех и быть первым в поле и на всякой сельской работе; он должен был зорко наблюдать, чтобы рабочие работали не покладая рук, обязан был подавать пример другим опытностью и усердием в работе. Когда рабочие возвращались домой к обеду и затем ложились отдыхать, староста освобождался позже других: он должен был осмотреть работы во дворе, исполненные в его отсутствие стариками и подростками, которым он поручал в это время рубить дрова, вывозить навоз или кирпич, – одним словом, за тем, кого он почему-либо не пустил на полевые работы. Точно так и после ужина он не мог тотчас завалиться на печку или покалякать на завалинке: почти каждый день в это время его звали в горницу, и у него с полчаса проходило в разговорах с матушкою о том, что делать на другой день, и в его отчетах о том, *где, что и сколько* было сработано; тотчас же при нем все эти сведения матушка заносила в свою тетрадь.

Несмотря на обременительные труды старосты, эта должность среди крестьян считалась весьма почетной, и почти каждый из них принимал ее с величайшею благодарно-

стью. Материальное положение старосты, пока он занимал эту должность, было несравненно более обеспеченным, чем у остальных крестьян. В то время у нас почти все крестьяне ходили в лаптях; хотя староста продолжал в них работать, но непременно должен был иметь сапоги, которые ему при вступлении его в должность немедленно заказывали сапожнику сшить из домашней кожи. Домашнему же портному приказывали приготовить старосте на зиму овчинный тулуп, а на лето нечто вроде балахона, на который матушка выдавала холстину. Эту праздничную одежду он должен был одевать каждый раз, когда его отправляли в волость или в город по каким-либо делам или к городским и сельским властям.

Ввиду того что староста был на господской работе шесть дней в неделю, его земельный участок обрабатывали матушкины крепостные совершенно так же, как и ее собственные поля и луга, хотя все полученное с его надела шло по-прежнему в его пользу. Кроме того, он ежемесячно получал известное количество ржи, ячменя и гречихи. При вступлении в должность староста приводил домой с господского двора корову и несколько овец. Когда его изба и хозяйственные постройки требовали основательного ремонта, их поправляли матушкины рабочие, но смотреть за домашними животными, обрабатывать землю под огород, картофель и горох, сажать капусту и овощи, прясть лен и ткать одежду – все это должна была делать собственная семья старосты; по крайней мере, так было с Лукою, у которого была жена и четыре дочери. Но зато его семья была избавлена не только от барщины, но и от каких бы то ни было помещичьих поборов. Нужно заметить, что в деревнях, принадлежащих матушке, кроме трехдневной барщины (три дня в неделю крестьяне, как мужчины так и женщины, занимались работами на свою госпожу), крестьянки несли еще разные тяготы. Каждая крестьянская семья, смотря по числу в ней женщин, обязана была доставлять летом своей госпоже определенное количество яиц, ягод, орехов, грибов, а зимою – пряжу и холст. От всех этих поборов избавлена была семья старосты. Крестьяне говорили про него, что хотя он действительно работает на барыню больше других, но зато и не боится голодного года, и что он со своею семьею единственные из крепостных матушки, которые как в урожай, так и в неурожай могут круглый год есть хлеб без мякины и забелить свой приварок.

Лука оказался одним из трудолюбивейших и расторопнейших крестьян и обнаружил большие административные способности.

Однако матушка не думала ограничиваться только переменою старосты: она решила внести существенные изменения во все отрасли своего хозяйства, а главное – раз навсегда уничтожить «все барские затеи», из-за которых, по ее мнению, и произошло разорение. Она бы с радостью продала всю домашнюю обстановку, тем более что «шифоньеры» и «секретеры» возмущали ее теперь даже своими названиями, как вещи, неподходящие в хозяйстве при ее жалком материальном положении, но на них не находилось покупателей. Зато немедленно были проданы все наши экипажи, кроме карафашки и простых саней; продан был и наш знаменитый дормез, прозванный «Ноевым ковчегом», в который мы, дети, любили забираться, когда он стоял в сарае, осматривали его многочисленные карманы и приходили в восторг, если находили в одном из них забытый сухарь или орех. Вместе с экипажами проданы были и наши выездные лошади: мы ездили теперь, что случалось, впрочем, крайне редко, на рабочих лошадях. Довольно многочисленная дворня и слишком большой теперь для нас штат прислуги подверглись сильному сокращению: для домашней услуги матушка оставила только кухарку и горничную. Большинство дворовых, знавших какое-нибудь ремесло, были отпущены на оброк, другим дана была земля, и они обращены были в обычных крестьян-хлебопашцев. При этих переменах матушка принимала в расчет способности дворовых и *до известной степени* их желания: кто просился на оброк, тому она назначала его «побожески», то есть на более льготных условиях, чем у других помещиков в наших краях, а того, кто от него отказывался, она наделяла землею, давала лес и время на устройство нового хозяйства.

Эти реформы все же прививались далеко не так быстро и не так легко, как на это рассчитывала матушка, и, пока все не вошло так или иначе в колею, они причиняли ей множество неприятностей. Многие из прежних наших служащих – кучер, повар, лакей и некоторые другие – не желали идти ни на оброк, ни брать землю и умоляли оставить их при прежней должности: они опасались, что, не имея в городах родных и знакомых, долго останутся без занятий, а то и совсем не найдут подходящего дела. Не желали они брать и землю, так как, издавна выполняя домашние обязанности при господах, отвыкли от землепашества, а в большинстве случаев не только они, но и отцы их никогда им не занимались. Матушка на все лады объясняла им, что она, вследствие уменьшения семьи более чем вдвое и полного разорения, не имеет ни средств, ни необходимости держать такую «ораву» челяди для домашних услуг, что она не может их кормить даром, что каждый из них обязан приносить ей пользу, но, когда никакие доводы не могли убедить дворовых, она тут же записывала их имена в особую графу своей тетради, решив продать их при первой возможности. Матушка в начале ведения своего хозяйства страшно нуждалась в деньгах и находила, что без продажи нескольких душ дворовых ей не обойтись, – она и решила сбыть с рук наименее для нее полезных. К тому же она боялась, что, не пристроившись основательно ни к земледелию, ни к отхожим промыслам или где-нибудь на месте в услужении, они явятся элементом, опасным для деревенской жизни, то есть «смутьянами», как их тогда называли. Особенно ее смущало положение Васьки-музыканта.

Лет за двенадцать – тринадцать до описываемого времени мой покойный отец стал приглядываться к одному восемнадцати – девятнадцатилетнему парню, Ваське, к имени которого крестьяне прибавляли – музыкант. Где бы в праздник ни собирался народ петь и плясать, Васька был тут как тут. Играть на свадьбах его приглашали даже крестьяне из чужих деревень; он всюду играл, пел и плясал. Мой отец, большой меломан, стал прислушиваться к его игре и однажды приказал ему принести в кабинет свои музыкальные инструменты и сыграть на каждом из них. Васька играл на скрипке, балалайке, гармонике, на разных дудочках и свисточках, играл как веселые плясовые, так и заунывные. В музыкальном отношении у него все выходило более осмысленно и своеобразно, чем у кого бы то ни было из деревенских музыкантов. Но когда отец добыл для него на время настоящую хорошую скрипку и заставил его сыграть ему на ней, Васька просто поразил его: он долго настраивал ее, долго приноравливался к новому для него инструменту, долго подбирал то одно, то другое и вдруг заиграл знакомый отцу ноктюрн Шопена. На вопрос изумленного отца, откуда он взял то, что играет, Васька объяснил, что, когда в нашей усадьбе в прошлое лето гостила одна барыня, она часто играла это у нас на фортепьяно; он нередко слушал ее, стоя под окном, и с тех пор эта «песня» (он так называл ноктюрн) не давала ему покоя, но ему не удавалось подобрать ее на своей простяцкой скрипке.

Это обстоятельство решило судьбу Васьки. Отец написал о нем князю Г., одному из богатейших помещиков средней полосы России. С этим князем Г. отец когда-то служил в одном полку и даже очень дружил: любовь к музыке и чтению более всего поддерживала взаимную дружбу этих двух людей. С выходом их в отставку они лишь изредка переписывались, и отец знал, что князь только что вернулся из-за границы, где он женился на знаменитой иностранной пианистке, делавшей артистическое турне по Западной Европе и приобревшей известность. Поселившись с женой в своем великолепном поместье, князь решил устроить домашний театр и свой собственный оркестр. Для обучения крепостных артистов он выписал нескольких иностранных учителей и музыкантов.

Князь охотно принял Ваську в свой оркестр, а через года два предлагал уже за него моему отцу большие, по тогдашнему времени, деньги. Он писал, что Васька, как по мнению его жены-артистки, так и по мнению проживающих у него иноземных учителей музыки, обладает феноменальными музыкальными способностями, что он на память, по слуху уди-

вительно верно передает сложные в музыкальном отношении вещи из репертуара его жены и что вообще он оказался человеком даровитым: быстро, между делом, научился грамоте, имеет большую склонность к чтению и еще легче усваивает музыкальную грамотность и преодолевает технические затруднения.

Но мой отец уже давно сам мечтал устроить у себя театр и оркестр (конечно, в неизмеримо более скромных размерах, чем это было у князя), с тем чтобы на подмостках его домашнего, более чем скромного театра прежде всего подвизались его собственные дети. Он был глубоко убежден в том, что такие театральные представления помогут развитию в них любви к искусству, что он считал главным основанием серьезного образования и воспитания гуманных чувств. С этою целью отец и отдал в обучение Ваську, а вовсе не для того, чтобы устроить музыкальную карьеру своего крепостного: даже такой гуманнейший для того времени человек, каким был мой отец, не дорос до этой идеи, а еще вероятнее то, что духовное развитие собственных детей он ставил выше всего. Как бы то ни было, но он наотрез отказался от предложения князя продать ему Ваську. Продержав его у князя еще некоторое время, отец взял его обратно к себе и устроил с его помощью собственный театр, при котором тот и состоял все время.

И вот теперь матушка приказывает ему выбирать одно из двух: идти на оброк или взять участок земли и поступить в один разряд с крестьянами-землепашцами. В то время Ваське уже перевалило за тридцать лет; он был женат, но, на его счастье, у него не было детей. Хотя он, конечно, знал о перемене судьбы многих дворовых, но, когда дело коснулось его лично, он просто потерял голову: он то и дело бегал из людской в господский дом, о чем-то шептался со своею женою Минодорою, то приходил к матушке упрашивать ее дать ему землю, то отказывался от нее и от того, чтобы перейти на оброк. Хотя ему хотелось поступить в какой-нибудь столичный оркестр при театре, но он боялся, что недостаточно для этого подготовлен, да многое и забыл с тех пор, как учился музыке, к тому же его пугала мысль, что он не найдет места ни в одной из столиц, так как никого там не знает.

Васька, человек высокого роста, чрезвычайно сухопарый и сутуловатый, в ту пору, о которой я говорю, ни своим говором, ни своим обликом не напоминал крестьянина. Его длинное худое с выдававшимися скулами лицо хотя не было красиво и носило следы оспы, но освещалось умными, большими, серыми, вдумчивыми глазами; его манеры не были ни грубыми, ни мужиковатыми и скорее напоминали интеллигентного человека. И это понятно: он был грамотный, кое-чему поучился, кое-что узнал и повидал во время своей, если можно про него сказать, артистической деятельности у князя, а отчасти и у моего отца, у которого он был не только главным музыкантом в его маленьком оркестре: он должен был вместе с ним приноравливать пьесы к данной обстановке, подымать и опускать занавес, нередко был суфлером, еще чаще выступал на театральных подмостках в качестве актера и солистом-музыкантом во время антрактов. Вследствие столь разнообразных обязанностей он получал одежду с барского плеча. Отец был плотный, широкоплечий, среднего роста мужчина, а Васька – длинный, как жердь, и худой; все барские обноски перешивались ему руками доморощенных портных, но теперь он донашивал обноски прежних обносков. Вследствие этого трудно было определить, что на нем одето, так как одежда не соответствовала его фигуре и была для него слишком коротка. Особенно бросались в глаза широкие штаны, не прикрытые кафтаном от самого седалища, и казалось, что его длинные-длинные ноги, точно палки, всунуты в них. Так как после смерти отца ему уже почти ничего не перешивалось, то он имел теперь совершенно обтрепанный вид. Одним словом, при первом взгляде на него он производил впечатление человека свободной профессии, но истерзанного и измученного житейскими бурями и невзгодами.

Его жена Минодора, которую он, видимо, горячо любил и которую даже в ту пору всеобщего дранья он никогда не трогал пальцем, была ему совершенно под пару. Говорили, что

она была плодом любви несчастной одного нашего родственника и красавицы-коровницы на нашем скотном дворе. Как бы то ни было, но Минодора осталась круглой сиротой в самом раннем детстве и была взята в комнаты. Она училась вместе с моими старшими сестрами (умершими во время холеры), была вполне грамотною, даже читала и понимала по-французски, вместе с сестрами подвизалась на театральных подмостках, но была горничною, хотя и очень любимою в доме. Театральная деятельность Минодоры сблизила ее с Ваською, – они поженились, так как для их брака не было никаких препятствий со стороны моих родителей. По поводу браков наших крестьян я хочу сказать несколько слов.

Мои родители, как только взяли хозяйство в свои руки, твердо решили никогда не вмешиваться в браки крепостных, не заставлять их насильно вступать в нежелательные для них брачные союзы. Это правило отца очень не понравилось многим соседям, которые придерживались совершенно обратного образа действия. Кто бы ни приезжал к нам в гости в первые годы после замужества матушки, сейчас начинал разговоры о том, какой вред распространяет нововведение моих родителей относительно браков, и старался убедить их в том, что свобода брачных союзов вредна для самих же крепостных, так как они не что иное, как глупые, неразумные дети, и что помещики, будучи их истинными отцами и благожелателями, лучше их знают, кто к кому из них наиболее подходит для брачного союза. Но на все рассуждения отец всегда отвечал одним и тем же, что поступать иначе ему не позволяет совесть. Тогда со стороны помещиков начались жалобы и доносы на отца, который будто бы своими действиями возмущает крестьян против помещичьей власти. Эти обвинения, по утверждению моей матери, чуть не кончились для отца очень дурно.

В те отдаленные времена становые и мелкие чиновники полицейского и судебного ведомства были обычными гостями помещиков. Хотя на людей подобной категории они смотрели свысока и полицейских называли «крапивным семенем», а судейских – «крючкотворами», но это не мешало им водить с ними дружбу. Делалось это для того, чтобы люди той и другой категории старались замять, когда это понадобится, их грязные делишки, покрывали их произвол над крестьянами, очень часто переходивший дозволенное даже в те жестокие времена. Как это ни странно, но этих «крючкотворов» и это «крапивное семя» принимали у себя даже те помещики, которые не боялись судебных преследований, так как ничем противозаконным не занимались и не пятнали себя возмутительною жестокостью относительно крестьян. И вот эти немногие порядочные помещики тоже находили, что они, несмотря на свое презрение к людям подобного рода, не могут обходиться без них. Приедет, бывало, становой к помещику и говорит: «Вы должны в таком-то месте устроить мост» или: «Вы обязаны уплатить такую-то недоимку». Правильно ли такое требование или нет, помещик очень часто не имел об этом ни малейшего представления, а наводить по этому поводу справки, съездить куда-нибудь для этого – лень. Вот он и находил, что дружба с полицейскими и с мелкотою из судебного ведомства может избавить его от лишних хлопот, даст ему возможность не нарушать своей «обломовщины», а потому-то как хорошие, так и дурные помещики приглашали на свои обеды и вечера этих мелких чиновников, давали им время от времени взятки хлебом и разными сельскими произведениями, а то и деньгами. Мой же отец, живя по зимам в городе, всецело погруженный в интересы своей семьи и в свои книги, приглашал на свои спектакли и вечера людей, наиболее ему симпатичных и образованных, а становых и мелких чиновников он просто игнорировал. Помещики знали, что за гордое отношение моего отца к чинам полиции и судебного ведомства последние его недолюбливают, и с помощью их пустили в ход доносы на отца: их серьезно тревожили свободные браки между крестьянами, им казалось, что даже подобные мысли подкапывают устои крепостного права. Но дружба моего отца с предводителем дворянства расстроила их козни. Когда помещики, писавшие доносы на отца, увидали, что из этого ничего не вышло, они

первые приехали в наш дом с распростертыми объятиями, выражали отцу свою приязнь и высказывали порицание кляузникам.

После этого отступления опять перехожу к прерванному рассказу. Положение Минодоры, жены Васьки-музыканта, можно было назвать весьма сносным для крепостной; в то время, когда при жизни отца моя семья жила на широкую ногу, ее работа в качестве горничной моих старших сестер была совсем не трудная, и никакой обиды она не испытывала. Элегантная Минодора, не только чисто, но даже со вкусом одетая, кроткая по натуре, толковая и исполнительная, пользовалась общею привязанностью в доме, но особенно моих сестер, и покровительством няни, к которой она относилась, как к родной матери. Но то, что у нас ценили в ней прежде – ее прекрасные манеры и элегантность, необходимые для актрисы и для горничной в хорошем доме, – было теперь, по мнению матушки, нам не ко двору. Прежде Минодора только шила и убирала комнаты, но никогда не делала никакой грязной работы, теперь ей приходилось все делать, и ее хрупкий, болезненный организм был для этого помехою: побежит через двор кого-нибудь позвать – кашель одолеет, принесет дров печку истопить – руки себе занозит, и они у нее распухнут. У матушки это все более вызывало пренебрежение к ней: все сильнее проникаясь демократическими и спартанскими вкусами, она все с большим раздражением смотрела на элегантную Минодору. К тому же нужно заметить, что матушка вообще недолюбливала тонких, хрупких, бледнолицых созданий и предпочитала им краснощеких, здоровых и крепких женщин. Хотя Минодора пока еще оставалась у нас в доме, но участь ее висела на волоске. Правда, няня при всяком удобном случае упрашивала матушку окончательно оставить ее в горничных, резонно Указывая ей, что всю грязную работу может исполнять кухарка, что у Минодоры при нашей семье и в таком большом доме, как наш, при множестве швейных работ, не будет даже хватать времени, но матушка не давала окончательного ответа: вероятно, раздражение против мужа Минодоры усиливало ее нерасположение и к его жене. В этой резкой перемене матушки к необыкновенно кроткой Минодоре, ничем не провинившейся перед нею, наверно не малую роль играла вся ее внешность «воздушного созданья». К тому же, как только изменилось наше материальное положение, матушка желала видеть всех – и детей своих, а тем более прислугу – за самой простой работой, которую безропотно исполняли бы все с утра до поздней ночи.

И вот положение Минодоры в нашем доме становилось все более неприглядным: страх, что она будет вынуждена взяться за земледельческую работу, если ее мужу навяжут землю, боязнь за него и вечные простуды ухудшали ее слабое здоровье: она все сильнее кашляла, худела и бледнела. Выбегая на улицу по поручениям и в дождь и в холод, она опасалась накинуть даже платок, чтобы не подвергнуться попрекам за «барство». Насмешки окружающих над ее мужем и ею также вливали свой яд в жизнь этой несчастной четы.

– Эй, Васька, покажь «киякиры» (так называли крестьяне наш театр)! – кричал дворовый зубоскал, распиливавший во дворе доски вместе с другими крестьянами и заметивший проходившего Ваську. – Покажь, ну, что тебе?

Не дождавшись ответа от Васьки, он продолжал свои издевательства, обращаясь к остальным рабочим:

– Кузьма-то в город с домашностью езжал к панам, так сказывал, что ён видал эвти ихние киякиры. Поставят, грит, Ваську головой униз, а ногами-то ён уверх, а евойную-то женку Минодору яму на ноги-то и плюхнут… Он с ей ползет, а сам во всю глотку орет: «Сударыня-барыня, пожалуйте ручку!»

– На голове-то ходить – беда не велика, воля барская… Похуже того с им было: тринкать обучался два с половиной года…

С тех пор, конечно, много воды утекло… Вследствие освобождения крестьян, увеличения числа грамотных и множества других перемен в жизни народа его мировоззрение на многие явления сильно изменилось. Не знаю, как теперь отнесся бы народ к человеку из

своей среды, который специально учился бы музыке, но в те отдаленные времена Ваську особенно осуждали за это, хотя всем, конечно, было известно, что никто не спрашивал его, желает ли он обучаться музыке. Мне самой уже через несколько лет после объявления воли пришлось разговаривать со многими крестьянами по поводу судьбы Васьки-музыканта, и они еще тогда сильно порицали его за учение музыке. Когда я спросила: «Что же, значит, и грамоте учиться не хорошо?» – один из крестьян заметил мне с иронией: «Ишь что приравняла! Известно, ученье – свет, а неученье – тьма; обучаться грамоте пользительно для человека, ну, а учиться тринкать-бринкать да пиликать на скрипке, терять на это время для крестьянина зазорно и перед людьми и перед богом».

– Как зазорно? – удивилась я. – Ведь на обучение Васьки была воля барская! Чем же он-то был виноват?

– Вестимо, баре что, бывало, вздумают, то и делают с человеком… А ведь ежели что неподобное, непереносное паны затевали с крепостными, – веревку и о ту пору всегда можно было добыть.

Несмотря, однако, на презрение крестьян к обучению музыке, самую музыку они очень любили и с любовью относились к музыкантам из своей среды: когда Васька еще парнем хаживал на свадьбы и праздники, его усердно угощали, одаривали, и если бы в то время над ним стряслась беда, то есть если бы он впал в нищету от какого-нибудь стихийного бедствия, каждый постарался бы поделиться с ним последним куском хлеба: «Он-де старается, и для него надо постараться». Но с тех пор как Васька поучился у князя, он совсем перестал играть для крестьян плясовые, а вечером уходил в сарай. «И пиликает, да таково нудное, что моченьки нет слухать», – говорили крестьяне.

Это обстоятельство тоже, видимо, приписывали дурному влиянию обучения музыке. И вот за то, что Васька перестал играть плясовые для удовольствия крестьян, за то, что он перестал ходить к ним на праздники и свадьбы, за то, что он вынес такой позор, как обучение музыке, за представление «киякиров», за то, что он женился на «барышне» (за женитьбу на горничной крестьяне не упрекали друг друга, но Минодора имела вид заправской барышни), за то, что он не трогал ее пальцем, за то, что он отвык от крестьянской работы, – за все это его презирали, издевались над ним и над его женой.

Васька вполне равнодушно относился к насмешкам Дуровых, но, когда на дворе появлялась Минодора и какой-нибудь зубоскал подбегал к ней и проделывал неприличные жесты и телодвижения, Васька с глазами, налитыми кровью, бросался на оскорбителя; начиналась потасовка, и можно было ожидать, что вот-вот произойдет уголовщина, – тогда все бросались разнимать противников. Но это бывало не часто: когда Минодоре приходилось идти во двор, чтобы выносить посуду или позвать кого-нибудь, и она замечала там рабочих, она тряслась и плакала. Заметив это, няня, ни слова не говоря, хватала у нее посуду или сама бежала звать, кого следует.

Как ни было плохо Минодоре, но положение ее мужа было еще хуже: она имела двух защитников – в лице мужа и доброй няни, а к Василию все относились или насмешливо, или недружелюбно; даже няня, которая со всеми была в самых наилучших отношениях, не могла выносить его, и это был единственный человек, которого она не любила. Так же как и крестьяне, она порицала его за то, что он отшатнулся от своего брата крестьянина, странным и диким находила она и его теперешнее пристрастие к музыке; не любила она его за то, что он выказывал отвращение к крестьянскому труду, не нравились ей и его несколько высокопарные выражения и слова, звучавшие для нее насмешкой.

Как-то после ужина матушке докладывают, что Васька просит дозволения переговорить с нею. Она догадывается, в чем дело, и приказывает позвать старосту Луку: она не делает никаких перемен в хозяйстве без его совета, что очень льстит ему. Этот честный и

работящий крестьянин служил верою и правдою своей госпоже, а уважение и почет, который она ему оказывает, заставляют его стараться еще более.

– Ну, что скажешь? – сурово обращается матушка к Ваське…

Тот объясняет ей, что теперь он уже окончательно решил не брать земли.

– Да ведь ты еще на днях сам просил меня отрезать тебе кусок земли у полянки… Я не могу каждый день менять своего распоряжения только из-за того, что ты сума переметная! Я уже приказала Луке отпустить тебе лесу на постройку, – отпущу и твою жену: мне она не нужна. Устроитесь и будете хозяйничать, как остальные…

– Милостивая госпожа! Богом данная наша матушка! Высокая наша покровительница! Будьте великодушны, рассудите сами, – начал было Васька, наклонный к декламации и ораторству. Покойный отец прекрасно знал эту его привычку и не обращал на нее ни малейшего внимания, а матушку, далеко не лишенную в то время крепостнических взглядов и замашек, каждый раз такое вступление Васьки просто бесило, и она находила, что слова вроде «высокая покровительница» или «богом данная матушка», а также его выражение «пораздумайте» вовсе не должны быть в лексиконе крепостного, тем более что, по ее словам, она никогда не могла даже разобрать, дает ли он ей эти эпитеты в насмешку, или у него просто такая скверная повадка. А потому она резко перебивала его уже в самом начале речи.

– Изволь говорить со мной без фокусов и ужимок, а не то я тебя сейчас выставлю… Не хочешь идти по сельскому хозяйству, – на оброк переведу. В последний раз выбирай, что хочешь.

Василий со слезами бросился перед матушкой на колени, умоляя выслушать его.

– Не могу, видит бог, не могу, сударыня, ни с землею орудовать, ни оброк вам выплачивать… Ведь когда я простым деревенским парнем состоял, я косил и пахал, все делал, от земли не отлынивал. Покойный барин изволили приказать по музыке идти… По музыке пошел, ведь этому уже теперь тринадцать годов, как я от земли оторвался… Как же мне к ней теперь приспособиться? То же и насчет музыки. Два с половиной года обучался, – но ведь я же от сохи попал в княжеский оркестр, значит, пока обломался, пока что, – время-то и прошло. Разбирать-то ноты я научился, да ведь если в оркестр проситься, не то что в столицу, а даже в большой город, так сказывают – читка нот без запинки требуется, быстрота, легкость игры… Куда же мне! Ведь у покойного барина я в музыке дальше не пошел, – они ведь приказывали мне других обучать или играть то, что знаю. А разве я виноват, что барин не дозволяли мне дольше Учиться? Может, о ту пору я из-за этого самого по ночам слезы кулаками утирал! А пикнуть, поперечить не посмел!.. Как же я посмею обещать выплачивать вам оброк своей скрипкой? Матушка! будьте благодетельницей, позвольте мне с женой остаться при вашей милости, мы, как перед богом, заслужим вам!

– Ты с ума сошел! Да что же ты наигрывать, что ли, мне собираешься «По улице мостовой», когда я с поля возвращаюсь? Если ты сам находишь, что у князя ты по музыке настолько не научился, чтобы ею теперь хлеб зарабатывать, так ты просто лентяй и болван! Два с половиною года от тебя не было никакой прибыли в хозяйстве, два с половиною года ты был предоставлен этому дурацкому ученью, а теперь извольте радоваться из этого ничего не вышло!.. Тринкать-то «Ванька Таньку полюбил» ты мог и без учения, и без ущерба для господского хозяйства! Но если ты ничего не знаешь и ничем не можешь зарабатывать денег, я тебя, конечно, не могу пустить на оброк, – никаких денег от тебя не дождешься… Только знай – я тебя даром с женой хлебом кормить не буду! Ты у меня научишься крестьянской работе!.. Будешь у меня и косить, и пахать, и молотить! А теперь пошел вон!

– Ну, что ты скажешь? – обратилась матушка к старосте после ухода Василия.

Почесывая затылок, староста начал:

– Да что же, матушка барыня… не извольте гневаться! Ведь толку-то из евойной работы не буде… Что из того, что ён ефту работу допреж справлял!.. не… к земле ему не присноровиться!..

– Это еще что за глупости! Покажешь толком, побьешься над ним первое время, он и научится! Возьми его на косовицу, пройди вместе полосу-другую, покажи, как косу держать, или на пахоте как с сохой и с бороной управляться… Первое время ставь его на работу с хорошими рабочими… Всему можно научиться, – была бы охота за дело взяться да нашелся бы кто показать как надо…

– Воля ваша, сударыня, только я с им из силушки намедни выбился. Вечор вы изволили приказать за огородом лужок скосить, – я его с Петроком поставил! Так во как Петрок его выправлял, во как бился с им!.. Да ежели ён как есть человек никчемный, так что же с им поделаешь? Петрок – мужик степенный, а как поглядит на Ваську, как ён за косу примается, так евойно брюхо так ходуном и заходит. И потом же, барыня матушка, ежели от вашей милости какое взыскание за мои недоглядки, – дескать, как я смел за тем не доглядеть да за эфтим, – так когда уж мне с им, с Васькой, значит, вожжаться? Окажите божескую милость, сударыня, ослобоните от Васьки, чтобы, значит, его прочь с моих рук… потому, как перед богом, сударыня, слободного времячка нетути.

– Ах, боже мой! – вскричала матушка в отчаянии, – Да пожалейте же вы меня! Значит, я его с женой даром хлебом кормить должна?

– Зачем, сударыня, задарма кормить! Можно на что другое переставить: на скотный, на починку построек, али там на рубку дров… А ежели, значит, ни на что не загодится, так и тут же опять… есть средствие…

– Какое средство?… Говори, в чем дело?

– Такое, сударыня, какое у всех суседей… Значит, как знатно отпороть на конюшне, так дурь-то евойная уся и соскочит!..

Хотя матушка думала, что действительно ничего другого не остается делать с «таким мерзавцем, как Васька», но не решалась пообещать старосте применить это средство, а сказала ему только, что сама теперь возьмется за него. И вот, кроме всевозможных хозяйственных хлопот, у матушки появилась теперь новая забота: она каждый день заставляла себя подумать о том, «что сегодня будет делать Васька?». И из-за того, чтобы он даром не ел ее хлеба, она стала следить за каждым его шагом. Отправляются на молотьбу, и Васька за ней. «Болван!» – резко раздается ее окрик в овине, когда он ударами цепа вместо соломы околачивает ноги рабочих. А когда он на косовице, будучи поставлен в ряд с лучшими косцами, зазубрил одну за другой две косы, она в исступлении затопала на него ногами. Не более прибыли приносил он матушке и при постройках. Раз как-то приказали ему стругать доски, и сейчас же староста пришел донести, что Васька испортил рубанок. После каждой неудачи Ваську призывали в горницу, и матушка на чем свет распекала его. Во время одной из таких распеканций она объявила ему, что через месяц-Другой, если от него по-прежнему не будет никакого толку, она отправит его в воинское присутствие и получит за него рекрутскую квитанцию.

– За что же так, сударыня! – совершенно испуганный и оскорбленный, заметил Васька. – Может, еще сбудете меня с рук? Может, еще найдутся люди и настоящие деньги вам за меня предоставят?

– Как ты осмеливаешься еще вздор такой болтать! Таких дураков на свете больше нет, которым нужна твоя дурацкая музыка!

Ненависть к Ваське росла у матушки вместе с его неудачами. По натуре замечательно деловитая и работящая, матушка не могла выносить, чтобы кто-нибудь из ее подданных не содействовал восстановлению ее расстроенного хозяйства. Если человек не мог или не умел делать всего, что необходимо было в хозяйстве, она считала его уже вполне негодным, даром

бременящим собою землю. Матушка не могла понять, что высшие способности Васьки к искусству мешают его успешной работе в сельском хозяйстве, что развитию их помог тот же барский произвол, вследствие чего он и потерял способность к простому труду.

Нечего и говорить, что в промежутки между экспериментами над Васькиными способностями к сельской работе он никогда не оставался без дела: то носил воду на скотный двор и в дом, то привозил кирпич, то приводил в порядок что-то в саду или около дома, то рубил дрова. Хотя все это было крайне необходимо в хозяйстве, но почему-то у нас все это считалось не настоящим делом, а «поделками», что мог исполнить даже подросток.

Однако мало-помалу матушка все реже начала сокрушаться о том, что она не может получать от Васьки всей той выгоды, на которую она считала себя вправе, как помещица. Произошло это от того, что жалобы на Васькино бездельничество, очевидно, становились все менее основательными. Будучи по натуре толковым, трезвым, безукоризненно честным и грамотным, он был точно создан для того, чтобы выполнять в хозяйстве наиболее сложные поручения. Хозяйство, пущенное в ход энергическою рукою матушки, все усложнялось, все настойчивее требовало особого человека для выполнения чрезвычайно разнообразных поручений: староста чуть не каждый день просил у матушки позволения отправить Ваську то в кузницу – «справить порченый струмент», то ковать лошадей, то на мельницу. По домашним делам тоже часто приходилось его посылать: то в волость с письмами, то за покупками, то по делам в город. Ввиду того что все это Васька выполнял вполне хорошо, матушка, все более развивавшая свою необыкновенную практичность, стала подумывать о том, как бы еще с большею выгодою утилизировать проявившиеся у него способности. Кроме очень немногого, что у нас покупалось для дома, мы главным образом существовали продуктами нашего деревенского хозяйства, и все-таки у нас оставались хозяйственные сбережения вроде масла, телят, поросят и разной живности, а также ржи, овса и т. п. Матушка, окончательно поселившись в деревне, несколько раз пробовала посылать на продажу эти сбережения в близлежащие города, а также и на пострялые дворы, но выручка от продажи была так ничтожна, что она не находила это для себя выгодным. И вот она решилась сделать попытку – отправить Ваську с сельскими сбережениями. Каково же было ее изумление, когда он по возвращении выложил ей на стол сумму, в четыре раза большую, чем его предшественники. При этом, чтобы дать возможность себя проверить, он аккуратнейшим образом записал, *где и что* продал, *сколько и за что* выручил. Матушка была поражена. Она тотчас позвала крестьян, раньше его отправляемых продавать хозяйственные сбережения, и объявила им, что они «мошенники» и «воры», так как многое прикарманивали из выручки. Это возбудило еще большую ненависть крестьян к Ваське: они прекрасно знали, что полная проверка продажи была немыслима, и не находили нужным так щепетильно относиться к барскому добру. Они оправдывались перед барынею тем, что такая огромная выручка говорит только о том, что Васька – «цыган, умеет маклачить». Теперь вместо насмешливых вопросов: «Эй, Васька, что твои киякиры?» ему кричали: «Ну, цыган, барам маклачить умеешь, скоро ли себе богачество добудешь?…»

Хотя Васька в конце концов был так завален поручениями, что у него иногда не хватало времени выполнить все, что требовалось, хотя он продажею хозяйственных сбережений начал приносить весьма осязательную выгоду, но он с ужасом думал о матушкиной угрозе: «Ну, а как вдруг да забреют лоб?» Но зато положение его жены Минодоры в качестве нашей горничной совершенно упрочилось. Нельзя было не полюбить это безответное существо, всегда готовое делать все, что приказывают: кроме уборки большого дома, было много починки и шитья, и матушка как будто убедилась, что и это нужно делать кому-нибудь. Хотя она не говорила о том, что Минодора и Василий навсегда останутся в нашем доме, но мы, ее дети, очень любившие эту пару, успокоились насчет ее судьбы.

Трудно представить, как радовалась моя сестра Саша тому, что Васька проявил способности к торговле: она очень любила его за его доброту и внимание к ней, но более всего за его музыкальный талант. К тому же в его несчастной судьбе она находила некоторое сходство со своею собственною судьбою, что заставляло ее как-то особенно горячо сочувствовать ему, как-то болезненно жалеть его. Она смотрела на него, как на чрезвычайно даровитого человека, которого загубил жестокий рок.

В теплые летние вечера, когда на скотном дворе, в хатах дворовых и в господском доме гасили огни, Василий пробирался на сеновал и начинал играть на скрипке, держа в губах что-то вроде маленького свисточка, в который он посвистывал во время игры, – выходило, точно он сам себе аккомпанировал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.